



ЛАУРЕАТ НОБЕЛЕВСКОЙ ПРЕМИИ 2015

СВЕТЛАНА АЛЕКСИЕВИЧ

ВРЕМЯ
СЕКОНД ХЭНД

СОБРАНИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЙ

Светлана Александровна Алексиевич
Время секунд хэнд
Серия «Голоса Утопии», книга 5

Текст предоставлен издательством
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=6022981
Время секунд хэнд: Время; Москва; 2013
ISBN 978-5-9691-1129-5, 978-5-96911-139-4

Аннотация

Завершающая, пятая книга знаменитого художественно-документального цикла «Голоса Утопии» Светланы Алексиевич, лауреата Нобелевской премии по литературе 2015 года «за многоголосное творчество – памятник страданию и мужеству в наше время». «У коммунизма был безумный план, – рассказывает автор, – переделать “старого” человека, ветхого Адама. И это получилось... Может быть, единственное, что получилось. За семьдесят с лишним лет в лаборатории марксизма-ленинизма вывели отдельный человеческий тип – homo soveticus. Одни считают, что это трагический персонаж, другие называют его “совком”. Мне кажется, я знаю этого человека, он мне хорошо знаком, я рядом с ним, бок о бок прожила много лет. Он – это я. Это мои знакомые, друзья, родители».

Монологи, вошедшие в книгу, десять лет записывались в поездках по всему бывшему Советскому Союзу.

Содержание

Записки соучастника	5
Часть первая	10
Из уличного шума и разговоров на кухне (1991–2001)	10
Про Иванушку-дурачка и золотую рыбку	10
Про то, как мы полюбили и разлюбили Горби	11
Про то, как пришла любовь, а под окнами танки	13
Про то, как вещи уравнились с идеями и словами	14
Про то, что мы выросли среди палачей и жертв	17
Про то, что нам надо выбирать: великую историю или банальную жизнь	18
Про все...	19
Десять историй в красном интерьере	21
О красоте диктатуры и тайне бабочки в цементе	21
О братьях и сестрах, палачах и жертвах... и электорате	38
О шепоте и крике... и восторге	44
Об одиноком красном маршале и трех днях забытой революции	51
Из рассказа N.	59
Конец ознакомительного фрагмента.	62

Светлана Алексиевич

Время секунд хэнд

© Светлана Алексиевич, 2013

© «Время», 2013

Жертва и палач одинаково отвратительны, и урок лагеря в том, что это братство в падении.

Давид Руссе. Дни нашей смерти

Во всяком случае, нам надо помнить, что за победу зла в мире в первую очередь отвечают не его слепые исполнители, а духовно зрячие служители добра.

Ф. Степун. Бывшее и несбывшееся

Записки соучастника

Мы прощаемся с советским временем. С той нашей жизнью. Я пытаюсь честно выслушать всех участников социалистической драмы...

У коммунизма был безумный план – переделать «старого» человека, ветхого Адама. И это получилось... может быть, единственное, что получилось. За семьдесят с лишним лет в лаборатории марксизма-ленинизма вывели отдельный человеческий тип – homo soveticus. Одни считают, что это трагический персонаж, другие называют его «совком». Мне кажется, я знаю этого человека, он мне хорошо знаком, я рядом с ним, бок о бок прожила много лет. Он – это я. Это мои знакомые, друзья, родители. Несколько лет я ездила по всему бывшему Советскому Союзу, потому что homo soveticus – это не только русские, но и белорусы, туркмены, украинцы, казахи... Теперь мы живем в разных государствах, говорим на разных языках, но нас ни с кем не перепутаешь. Узнаешь сразу! Все мы, люди из социализма, похожие и не похожие на остальных людей – у нас свой словарь, свои представления о добре и зле, о героях и мучениках. У нас особые отношения со смертью. Постоянно в рассказах, которые я записываю, режут ухо слова: «стрелять», «расстрелять», «ликвидировать», «пустить в расход» или такие советские варианты исчезновения, как: «арест», «десять лет без права переписки», «эмиграция». Сколько может стоить человеческая жизнь, если мы помним, что недавно погибали миллионы? Мы полны ненависти и предрассудков. Все оттуда, где был ГУЛАГ и страшная война. Коллективизация, раскулачивание, переселение народов...

Это был социализм, и это была просто наша жизнь. Тогда мы мало о ней говорили. А теперь, когда мир необратимо изменился, всем стала интересна та наша жизнь, неважно какой она была, это была наша жизнь. Пишу, разыскиваю по крупицам, по крохам историю «домашнего»... «внутреннего» социализма. То, как он жил в человеческой душе. Меня всегда привлекает вот это маленькое пространство – человек... один человек. На самом деле там все и происходит.

Почему в книге так много рассказов самоубийц, а не обыкновенных советских людей с обыкновенными советскими биографиями? В конце концов, кончают с собой и из-за любви, из-за старости, просто так, ради интереса, из-за желания разгадать секрет смерти... Я искала тех, кто намертво прирос к идее, впустил ее в себя так, что не отодрать – государство стало их космосом, заменило им все, даже собственную жизнь. Они не смогли уйти из великой истории, распрощаться с ней, быть счастливыми иначе. Нырнуть... пропасть в частном существовании, как это происходит сегодня, когда маленькое стало большим. Человек хочет просто жить, без великой идеи. Такого никогда не было в русской жизни, этого не знает и русская литература. В общем-то, мы военные люди. Или воевали, или готовились к войне. Никогда не жили иначе. Отсюда военная психология. И в мирной жизни все было по-военному. Стучал барабан, развевалось знамя... сердце выскакивало из груди... Человек не замечал своего рабства, он даже любил свое рабство. Я тоже помню: после школы мы собирались всем классом поехать на целину, презирали тех, кто отказывался, до слез жалели, что революция, гражданская война – все случилось без нас. Оглянешься: неужели это мы? Я? Я вспоминала вместе со своими героями. Кто-то из них сказал: «Только советский человек может понять советского человека». Мы были люди с одной коммунистической памятью. Соседи по памяти.

Отец вспоминал, что он лично в коммунизм поверил после полета Гагарина. Мы – первые! Мы все можем! Так они с мамой нас и воспитывали. Я была октябренком, носила значок с кудрявым мальчиком, пионеркой, комсомолкой. Разочарование пришло позже.

После перестройки все ждали, когда откроют архивы. Их открыли. Мы узнали историю, которую от нас скрывали...

«Мы должны увлечь за собой 90 миллионов из ста, населяющих Советскую Россию. С остальными нельзя говорить – их надо уничтожить» (Зиновьев, 1918).

«Повесить (неприменно повесить, дабы народ видел) не меньше 1000 завязтых кулаков, богатеев... отнять у них весь хлеб, назначить заложников... Сделать так, чтобы на сотни верст кругом народ видел, трепетал...» (Ленин, 1918).

«Москва буквально умирает от голода» (профессор Кузнецов – Троцкому). – «Это не голод. Когда Тит брал Иерусалим, еврейские матери ели своих детей. Вот когда я заставлю ваших матерей есть своих детей, тогда вы можете прийти и сказать: “Мы голодаем”» (Троцкий, 1919).

Люди читали газеты, журналы и молчали. На них обрушился неподъемный ужас! Как с этим жить? Многие встретили правду как врага. И свободу тоже. «Мы не знаем свою страну. Не знаем, о чем думает большинство людей, мы их видим, встречаем каждый день, но о чем они думают, чего хотят, мы не знаем. Но берем на себя смелость их учить. Скоро всё узнаем – и ужаснемся», – говорил один мой знакомый, с которым мы часто сидели у меня на кухне. Я с ним спорила. Было это в девяносто первом году... Счастливое время! Мы верили, что завтра, буквально завтра начнется свобода. Начнется из ничего, из наших желаний.

Из «Записных книжек» Шаламова: «Я был участником великой проигранной битвы за действительное обновление жизни». Написал это человек, отсидевший семнадцать лет в сталинских лагерях. Тоска об идеале осталась... Советских людей я бы разделила на четыре поколения: сталинское, хрущевское, брежневское и горбачевское. Я – из последнего. Нам было легче принять крах коммунистической идеи, так как мы не жили в то время, когда идея была молодая, сильная, с нерастраченной магией гибельного романтизма и утопических надежд. Мы выросли при кремлевских старцах. В постные вегетарианские времена. Большая кровь коммунизма уже была забыта. Пафос свирепствовал, но сохранилось знание, что утопию нельзя превращать в жизнь.

Это было в первую чеченскую войну... Я познакомилась в Москве на вокзале с женщиной, она была откуда-то из-под Тамбова. Ехала в Чечню, чтобы забрать сына с войны: «Я не хочу, чтобы он умирал. Я не хочу, чтобы он убивал». Государство уже не владело ее душой. Это был свободный человек. Таких людей было немного. Больше было тех, кого свобода раздражала: «Я купил три газеты и в каждой своя правда. Где же настоящая правда? Раньше прочитаешь утром газету “Правда” – и все знаешь. Все понимаешь». Из-под наркоза идеи выходили медленно. Если я начинала разговор о покаянии, в ответ слышала: «За что я должен каяться?» Каждый чувствовал себя жертвой, но не соучастником. Один говорил: «я тоже сидел», второй – «я воевал», третий – «я свой город из разрухи поднимал, днем и ночью кирпичи таскал». Это было совершенно неожиданно: все пьяные от свободы, но не готовые к свободе. Где же она, свобода? Только на кухне, где по привычке продолжали ругать власть. Ругали Ельцина и Горбачева. Ельцина за то, что изменил Россию. А Горбачева? Горбачева за то, что изменил все. Весь двадцатый век. И у нас теперь будет, как у других. Как у всех. Думали, что на этот раз получится.

Россия менялась и ненавидела себя за то, что менялась. «Неподвижный Монгол» – писал о России Маркс.

Советская цивилизация... Тороплюсь запечатлеть ее следы. Знакомые лица. Расспрашиваю не о социализме, а о любви, ревности, детстве, старости. О музыке, танцах, прическах. О тысячах подробностей исчезнувшей жизни. Это единственный способ загнать катастрофу в рамки привычного и попытаться что-то рассказать. О чем-то догадаться. Не устаю удивляться тому, как интересна обычная человеческая жизнь. Бесконечное количество человеческих правд... Историю интересуют только факты, а эмоции остаются за бортом. Их не принято впускать в историю. Я же смотрю на мир глазами гуманитария, а не историка. Удивлена человеком...

Отца уже нет. И я не могу договорить с ним один наш разговор... Он сказал, что им умирать на войне было легче, чем необстрелянным мальчикам, которые сегодня погибают в Чечне. В сороковые – они из ада попадали в ад. Перед войной отец учился в Минске в Институте журналистики. Вспоминал, что когда они возвращались с каникул, часто уже не встречали ни одного знакомого преподавателя, все были арестованы. Они не понимали, что происходит, но было страшно. Страшно, как на войне.

У меня с отцом было мало откровенных разговоров. Он жалел меня. Жалела ли я его? Мне трудно ответить на этот вопрос... Мы были беспощадны к своим родителям. Нам казалось, что свобода – это очень просто. Прошло немного времени, и мы сами согнулись под ее бременем, потому что никто не учил нас свободе. Учили только, как умирать за свободу.

Вот она – свобода! Таковую ли мы ее ждали? Мы были готовы умереть за свои идеалы. Драться в бою. А началась «чеховская» жизнь. Без истории. Рухнули все ценности, кроме ценности жизни. Жизни вообще. Новые мечты: построить дом, купить хорошую машину, посадить крыжовник... Свобода оказалась реабилитацией мещанства, обычно замороженного в русской жизни. Свободой Его Величества Потребления. Величия тьмы. Тьмы желаний, инстинктов – потаенной человеческой жизни, о которой мы имели приблизительное представление. Всю историю выживали, а не жили. А теперь военный опыт уже не нужен, его надо было забыть. Тысячи новых эмоций, состояний, реакций... Как-то вдруг все вокруг стало другим: вывески, вещи, деньги, флаг... И сам человек. Он стал более цветным, отдельным, монолит взорвали, и жизнь рассыпалась на островки, атомы, ячейки. Как у Даля: свобода-воля... волюшка-раздолюшка... простор. Великое зло превратилось в далекое сказание, в политический детектив. Никто уже не говорил об идее, говорили о кредитах, процентах, векселях, деньги не зарабатывали, а «делали», «выигрывали». Надолго ли это? «Неправда денег в русской душе невытравима», – писала Цветаева. Но будто ожили и разгуливают по нашим улицам герои Островского и Салтыкова-Щедрина.

У всех, с кем встречалась, я спрашивала: «Что такое – свобода?». Отцы и дети отвечали по-разному. У тех, кто родился в СССР, и тех, кто родился не в СССР, нет общего опыта. Они – люди с разных планет.

Отцы: свобода – отсутствие страха; три дня в августе, когда мы победили путч; человек, который выбирает в магазине из ста сортов колбасы, свободнее, чем человек, который выбирает из десяти сортов; быть непоротым, но непоротых поколений нам никогда не дожидаться; русский человек не понимает свободу, ему нужен казак и плеть.

Дети: свобода – любовь; внутренняя свобода – абсолютная ценность; когда ты не боишься своих желаний; иметь много денег, тогда у тебя будет все; когда ты можешь жить так, чтобы не задумываться о свободе. Свобода – это нормально.

Ищу язык. У человека много языков: язык, на котором разговаривают с детьми, еще один, это тот, на котором говорят в любви... А еще есть язык, на котором мы говорим сами с собой, ведем внутренние разговоры. На улице, на работе, в путешествиях – везде звучит что-то другое, меняются не только слова, но и что-то еще. Даже утром и вечером человек говорит по-разному. А то, что происходит ночью между двумя людьми, совершенно исчезает из истории. Мы имеем дело только с историей дневного человека. Самоубийство – ночная тема, человек находится на границе бытия и небытия. Сна. Я хочу это понять с дотошностью дневного человека. Услышала: «Не бойтесь, что понравится?».

Едем по Смоленщине. В одной деревне остановились возле магазина. Какие знакомые (я же сама выросла в деревне), красивые, какие хорошие лица – и какая унижительная, нищая жизнь вокруг. Разговорились о жизни. «О свободе спрашиваете? Зайдите в наш магазин: водка стоит, какая хочешь: “Стандарт”, “Горбачев”, “Путинка”, колбасы навалом, и сыра, и рыбы. Бананы лежат. Какая еще свобода нужна? Нам этой хватит». – «А землю вам дали?» – «Кто на ней будет корячиться? Хочешь – бери. У нас один Васька Крутой взял. Младшему пацану восемь лет, а он рядом с отцом за плугом идет. У него, если наймешься на работу – не украдешь, не поспишь. Фашист!»

У Достоевского в «Легенде о Великом инквизиторе» идет спор о свободе. О том, что путь свободы трудный, страдальческий, трагический... «Для чего познавать это чертово добро и зло, когда это столько стоит?» Человек должен все время выбирать: свобода или благополучие и устройство жизни, свобода со страданиями или счастье без свободы. И большинство людей идет вторым путем.

Великий инквизитор говорит Христу, который вернулся на землю:

«Зачем же Ты пришел нам мешать? Ибо Ты пришел нам мешать и сам это знаешь».

«Столь уважая его (человека), Ты поступил, как бы перестав ему сострадать, потому что слишком много от него потребовал... Уважая его менее, менее от него и потребовал бы, а это было бы ближе к любви, ибо легче была бы ноша его. Он слаб и подл... Чем виновата слабая душа, что не в силах вместить столь страшных даров?»

«Нет заботы непрерывнее и мучительнее для человека, как, оставшись свободным, сыскать поскорее того, перед кем преклониться... и кому бы передать поскорее тот дар свободы, с которым это несчастное существо рождается...»

* * *

В девяностые... да, мы были счастливыми, к той нашей наивности уже не вернуться. Нам казалось, что выбор сделан, коммунизм безнадежно проиграл. А все только начиналось...

Прошло двадцать лет... «Не пугайте нас социализмом», – говорят дети родителям.

Из разговора со знакомым университетским преподавателем: «В конце девяностых студенты смеялись, – рассказывал он, – когда я вспоминал о Советском Союзе, они были уверены, что перед ними открывается новое будущее. Теперь картина иная... Сегодняшние студенты уже узнали, прочувствовали, что такое капитализм – неравенство, бедность, наглое богатство, перед глазами у них жизнь родителей, которым ничего не досталось от разграб-

ленной страны. И они радикально настроены. Мечтают о своей революции. Носят красные футболки с портретами Ленина и Че Гевары».

В обществе появился запрос на Советский Союз. На культ Сталина. Половина молодых людей от 19 до 30 лет считают Сталина «величайшим политическим деятелем». В стране, в которой Сталин уничтожил людей не меньше, чем Гитлер, новый культ Сталина?! Опять в моде все советское. Например, «советские» кафе – с советскими названиями и советскими блюдами. Появились «советские» конфеты и «советская» колбаса – с запахом и вкусом, знакомыми нам с детства. И конечно, «советская» водка. На телевидении десятки передач, а в интернете десятки «советских» ностальгических сайтов. В сталинские лагеря – на Соловки, в Магадан – вы можете попасть туристом. Реклама обещает, что для полноты ощущений вам выдадут лагерную робу, кирку. Покажут отреставрированные бараки. А в конце организуют рыбалку...

Возрождаются старомодные идеи: о великой империи, о «железной руке», «об особом русском пути»... Вернули советский гимн, есть комсомол, только он называется «Наши», есть партия власти, копирующая коммунистическую партию. У Президента власть, как у Генсека. Абсолютная. Вместо марксизма-ленинизма – православие...

Перед революцией семнадцатого года Александр Грин написал: «А будущее как-то перестало стоять на своем месте». Прошло сто лет – и будущее опять не на своем месте. Наступило время секунд хэнд.

Баррикада – опасное место для художника. Ловушка. Там портится зрение, сужается зрачок, мир теряет краски. Там черно-белый мир. Оттуда человека уже не различишь, а видишь только черную точку – мишень. Я всю жизнь – на баррикадах, я хотела бы уйти оттуда. Научиться радоваться жизни. Вернуть себе нормальное зрение. Но десятки тысяч людей снова выходят на улицы. Берутся за руки. У них белые ленточки на куртках. Символ возрождения. Света. И я с ними.

Встретила на улице молодых ребят в майках с серпом и молотом и портретом Ленина. Знают ли они, что такое коммунизм?

Часть первая Утешение апокалипсисом

Из уличного шума и разговоров на кухне (1991–2001)

Про Иванушку-дурачка и золотую рыбку

«Что я понял? Я понял, что герои одного времени редко бывают героями другого времени. Кроме Иванушки-дурачка. И Емели. Любимых героев русских сказок. Наши сказки – про везение, про миг удачи. Про ожидание чудесной помощи, чтоб все в рот само свалилось. Лежа на печи, иметь все. Чтобы печь сама блины пекла, а золотая рыбка все желания исполняла. Хочу то и хочу это. Хочу Царевну Прекрасную! И хочу жить в царстве ином – с молочными реками и кисельными берегами. Мы – мечтатели, конечно. Душа трудится и страдает, а дело мало движется, потому что на него сил уже не хватает. Дело стоит. Загадочная русская душа... Все пытаются ее понять... читают Достоевского... Что там у них за душой? А за душой у нас только душа. Поговорить любим на кухне, почитать книгу. Главная профессия – читатель. Зритель. И при этом ощущение своей особенности, исключительности, хотя оснований для этого никаких, кроме нефти и газа. С одной стороны, это-то и препятствует перемене жизни, а с другой стороны, дает ощущение смысла, что ли. Всегда висит в воздухе, что Россия должна сотворить, показать миру что-то из ряда вон выходящее. Богоизбранный народ. Особый русский путь. Сплошь у нас Обломовы, лежат на диване и ждут чуда. Но не Штольцы. Деятельные, проворные Штольцы презираемы за то, что срубили любимую березовую рощу, вишневый садик. Заводики там строят, делают деньги. Чужие нам Штольцы...»

«Русская кухня... Убогая “хрущобная” кухонька – девять-двенадцать (счастье!) квадратных метров, за тонкой стенкой туалет. Советская планировка. На окошке лук в баночках из-под майонеза, в горшке столетник от насморка. Кухня у нас – это не только место для приготовления пищи, это и столовая, и гостиная, и кабинет, и трибуна. Место для коллективных психотерапевтических сеансов. В девятнадцатом веке вся русская культура жила в дворянских усадьбах, а в двадцатом – на кухнях. И перестройка тоже. Вся “шестидесятилетняя” жизнь – это “кухонная” жизнь. Спасибо Хрущеву! Это при нем вышли из коммуналки, завели личные кухни, где можно было ругать власть, а главное – не бояться, потому что на кухне все свои. Там рождались идеи, прожекты фантастические. Травили анекдоты... Анекдоты процветали! Коммунист – это тот, кто Маркса читал, а антикоммунист – это тот, кто его понял. Мы выросли на кухнях, и наши дети тоже, они вместе с нами слушали Галича и Окуджаву. Крутили Высоцкого. Ловили Би-би-си. Разговоры обо всем: о том, как все хреново, и о смысле жизни, о счастье для всех. Вспоминаю смешной случай... Засиделись как-то за полночь, наша дочь, ей было двенадцать лет, тут же, на маленьком диванчике, уснула. А мы что-то громко заспорили. И она сквозь сон как заорет: “Не надо больше о политике! Опять Сахаров... Солженицын... Сталин...” *(Смеется.)*

Бесконечный чай. Кофе. Водочка. А в семидесятые годы пили кубинский ром. Все были влюблены в Фиделя! В кубинскую революцию! Че в берете. Голливудский красавец! Бесконечный треп. Страх, что нас прослушивают, наверняка прослушивают. В середине разговора обязательно кто-нибудь посмотрит со смешком на люстру или на розетку: “Вы слышите, товарищ майор?” Вроде риск... вроде игра... Получали даже какое-то удовольствие

от этой лживой жизни. Ничтожное количество людей сопротивлялось открыто, больше было “кухонных диссидентов”. С фигой в кармане...»

«Сейчас стыдно быть бедным, неспортивным... Не успеваешь, короче. А я из поколения дворников и сторожей. Был такой способ внутренней эмиграции. Ты живешь и не замечаешь того, что вокруг, как пейзаж за окном. Мы с женой окончили философский факультет Петербургского (тогда Ленинградского) университета, она устроилась дворником, а я – истопником в котельной. Работаешь одни сутки, двое – дома. Инженер в то время получал сто тридцать рублей, а я в котельной – девяносто, то есть соглашаешься потерять сорок рублей, но зато получаешь абсолютную свободу. Читали книжки, много читали. Разговаривали. Думали, что производим идеи. Мечтали о революции, но боялись – не дождемся. Закрытую, в общем-то, вели жизнь, ничего не знали о том, что творится в мире. Были «комнатные растения». Все себе придумали, как впоследствии выяснилось, нафантазировали – и Запад, и капитализм, и русский народ. Жили миражами. Такой России, как в книжках и на наших кухнях, никогда не было. Только у нас в голове.

В перестройку все кончилось... Грянул капитализм... Девяносто рублей стали десятью долларами. На них – не прожить. Вышли из кухонь на улицу, и тут выяснилось, что идей у нас нет, мы просто сидели все это время и разговаривали. Откуда-то появились совсем другие люди – молодые ребята в малиновых пиджаках и с золотыми перстнями. И с новыми правилами игры: деньги есть – ты человек, денег нет – ты никто. Кому это интересно, что ты Гегеля всего прочитал? “Гуманитарий” звучало как диагноз. Мол, все, что они умеют – это держать томик Мандельштама в руках. Открылось много незнакомого. Интеллигенция до безобразия обнищала. В нашем парке по выходным дням кришнаиты устанавливали полевою кухню и раздавали суп и что-то там простенькое из второго. Выстраивалась такая очередь аккуратненьких стариков, что спазм в горле. Некоторые из них прятали свои лица. У нас к тому времени было уже двое маленьких детей. Голодали натуральным образом. Начали с женой торговать. Брали на заводе четыре-шесть ящиков мороженого и ехали на рынок, туда, где много людей. Холодильников никаких, через несколько часов мороженое уже текло. Тогда раздавали его голодным мальчишкам. Сколько радости! Торговала жена, а я то поднесу, то подвезу – все что угодно готов был делать, только не продавать. Долго чувствовал себя некомфортно.

Раньше часто вспоминал нашу “кухонную жизнь”... Какая была любовь! Какие женщины! Эти женщины презирали богатых. Их нельзя было купить. А сейчас времени на чувства ни у кого нет – все деньги зарабатывают. Открытие денег – как взрыв атомной бомбы...»

Про то, как мы полюбили и разлюбили Горби

«Горбачевское время... Огромные толпы людей со счастливыми лицами. Сво-бо-да! Все этим дышали. Газеты были нарасхват. Время больших надежд – вот-вот попадем в рай. Демократия – неведомый нам зверь. Как сумасшедшие, бегали на митинги: сейчас узнаем всю правду о Сталине, о ГУЛАГе, прочитаем запрещенные “Дети Арбата” Рыбакова и другие хорошие книги – и станем демократами. Как мы ошибались! Из всех радиоточек кричала эта правда... Скорее, скорее! Читайте! Слушайте! Не все оказались к этому готовы... Большинство людей не были антисоветски настроены, они хотели только одного – хорошо жить. Чтобы можно было купить джинсы, “видик” и предел мечтаний – автомобиль! Всем хотелось яркой одежды, вкусной еды. Когда я принесла домой солженицынский “Архипелаг ГУЛАГ”, моя мама была в ужасе: “Если ты сейчас же не уйдешь с этой книгой, то я тебя выгоню из дома”. У бабушки расстреляли мужа перед войной, а она говорила: “Ваську не жаль. Арестовали правильно. За длинный язык”. – “Бабушка, почему ты ничего мне не рассказы-

вала?” – спрашивала я. – “Пусть моя жизнь сдохнет вместе со мной, чтобы вы не пострадали”. Так жили наши родители и их родители. Все катком было отутюжено. Перестройку сделал не народ, это сделал один человек – Горбачев. Горбачев и кучка интеллигентов...»

«Горбачев – секретный американский агент... Масон... Предал коммунизм. Коммунистов – на мусорку, комсомольцев – на свалку! Я ненавижу Горбачева за то, что он украл у меня Родину. Советский паспорт как самую дорогую вещь берегу. Да, мы стояли в очереди за синюшными цыплятами и гнилой картошкой, но это была Родина. Я ее любил. Вы жили в “Верхней Вольте с ракетами”, а я жил в великой стране. Россия всегда для Запада – враг, ее боятся. Кость в горле. Никому не нужна сильная Россия – с коммунистами или без них. На нас смотрят как на склад – нефти, газа, леса и цветных металлов. Нефть меняем на трусы. А была цивилизация без шмоток и барахла. Советская цивилизация! Кому-то надо было, чтобы ее не стало. Операция ЦРУ. Нами уже управляют американцы. Горбачеву хорошо за это заплатили... Рано или поздно его будут судить. Надеюсь, Иуда доживет до народного гнева. Я с удовольствием прострелил бы ему затылок на Бутовском полигоне. *(Стучит кулаком по столу.)* Настало счастье, да? Появились колбаса и бананы. Валяемся в говне и едим все чужое. Вместо Родины – большой супермаркет. Если это называется свобода, то мне такая свобода не нужна. Тьфу! Народ ниже плинтуса опустили, мы рабы. Рабы! При коммунистах кухарка, как говорил Ленин, управляла государством: рабочие, доярки, ткачихи – а теперь в парламенте сидят бандиты. Долларовые миллионеры. Им в тюрьме надо сидеть, а не в парламенте. Надули нас с перестройкой!

Я родился в СССР, и мне там нравилось. Мой отец был коммунистом, учил читать меня по газете “Правда”. Каждый праздник мы с ним ходили на демонстрацию. Со слезами на глазах... Я был пионером, носил красный галстук. Пришел Горбачев, и я не успел стать комсомольцем, о чем жалею. Я – совок, да? Мои родители – совки, дед и баба – совки? Мой совковый дед погиб под Москвой в сорок первом... А моя совковая бабка была в партизанах... Господа либералы отрабатывают свою пайку. Хотят, чтобы мы свое прошлое считали черной дырой. Я их всех ненавижу: горбачева, шеварнадзе, яковлева, – напишите с маленькой буквы, так я их ненавижу. Я не хочу в Америку, я хочу в СССР...»

«То были прекрасные, наивные годы... Мы поверили Горбачеву, сейчас уже никому так легко не поверим. Многие русские люди возвращались из эмиграции на Родину... Был такой подъем! Думали, что сломаем этот барак. Построим что-то новое. Я окончила филологический факультет МГУ и поступила в аспирантуру. Мечтала заниматься наукой. Кумиром в те годы был Аверинцев, на его лекции сходилась вся просвещенная Москва. Встречались и поддерживали друг в друге иллюзию, что скоро будет другая страна, и мы за это боремся. Когда я узнала, что моя однокурсница уезжает в Израиль, очень удивилась: “Неужели тебе не обидно уезжать? У нас все только начинается”.

Чем больше говорили и писали: “Свобода! Свобода!”, тем быстрее с прилавков исчезали не только сыр и мясо, но и соль, и сахар. Пустые магазины. Страшно. Все по талонам, как в войну. Нас спасла наша бабушка, она целыми днями бегала по городу и отоваривала эти талоны. Весь балкон был забит стиральным порошком, в спальне стояли мешки с сахаром и крупой. Когда выдали талоны на носки, папа заплакал: “Это конец СССР”. Он почувствовал... Папа работал в конструкторском бюро на военном заводе, занимался ракетами, и ему это безумно нравилось. У него было два высших образования. Вместо ракет завод стал штамповать стиральные машины и пылесосы. Папу сократили. Они с мамой были ярые перестроечники: писали плакаты, разносили листовки – и вот финал... Растерялись. Не могли поверить, что свобода – она вот такая. Не могли с этим смириться. На улицах уже кричали: “Горбачеву грош цена, берегите Ельцина!”. Несли портреты Брежнева в орденах, а порт-

реты Горбачева – в талонах. Начиналось царствование Ельцина: гайдаровские реформы и вот это ненавистное мне “купи-продай”... Чтобы выжить, я ездила в Польшу с мешками лампочек и детских игрушек. Полный вагон: учителя, инженеры, врачи... Все с мешками и сумками. Всю ночь сидим и обсуждаем “Доктор Живаго” Пастернака... пьесы Шатрова... Как в Москве на кухне.

Вспоминаю университетских друзей... Мы стали кем угодно, но не филологами – топ-менеджерами рекламных агентств, банковскими служащими, “челноками”... Я работаю в агентстве недвижимости у одной дамы, которая приехала из провинции, бывший комсомольский работник. У кого сегодня фирмы? Виллы на Кипре и в Майами? У бывшей партноменклатуры. Это к тому, где надо искать деньги партии... А наши вожди... шестидесятники... Они крови на войне нанюхались, но были наивные, как дети... Нам надо было дневать и ночевать на площадях. Довести дело до конца – добиться Нюрнберга для КПСС. Мы слишком быстро разошлись по домам. Фарцовщики и менялы взяли власть. И вопреки Марксу, после социализма строим капитализм. *(Молчит.)* Но я счастлива, что жила в это время. Коммунизм пал! Все, он уже не вернется. Живем в другом мире и смотрим на мир другими глазами. Свободное дыхание тех дней я никогда не забуду...»

Про то, как пришла любовь, а под окнами танки

«Я была влюблена, ни о чем другом не могла больше думать. Жила исключительно этим. И вот мама утром будит: “Танки под окнами! Кажется, переворот!”. Я сквозь сон: “Мама, это учения”. Фиг вам! Под окнами стояли настоящие танки, я никогда не видела танки так близко. По телевизору шел балет “Лебединое озеро”... Прибежала мамина подруга, она очень волновалась, что задолжала партийные взносы за несколько месяцев. Говорила, что у них в школе стоял бюст Ленина, она его вынесла в подсобку, а теперь – что с ним делать? Все сразу стало на свои места: этого нельзя и того нельзя. Диктор зачитывала Заявление о введении чрезвычайного положения... Мамина подруга при каждом слове вздрагивала: “Боже мой! Боже мой!” Отец плевался в телевизор...

Позвонила Олегу... “Едем к Белому дому?” – “Едем!” Приколола значок с Горбачевым. Нарезала бутербродов. В метро люди были неразговорчивые, все ждали беды. Всюду танки... танки... На броне сидели не убийцы, а испуганные пацаны с виноватыми лицами. Старушки кормили их вареными яйцами и блинами. На душе стало легче, когда возле Белого дома я увидела десятки тысяч людей! Настроение у всех великолепное. Ощущение, что мы все можем. Скандировали: “Ельцин, Ельцин! Ельцин!”. Уже формировались отряды самообороны. Записывали только молодых, а пожилым отказывали, и они были недовольны. Какой-то старик возмущался: “У меня коммунисты жизнь украли! Дайте хотя бы умереть красиво!” – “Папаша, отойдите...” Сейчас говорят, что мы хотели защитить капитализм... Неправда! Я защищала социализм, но какой-то другой... не советский... И я его защитила! Я так думала. Мы все так думали... Через три дня танки уходили из Москвы, это уже были добрые танки. Победа! И мы целовались, целовались...»

Сижу на кухне у моих московских знакомых. Тут собралась большая компания: друзья, родственники из провинции. Вспомнили, что завтра очередная годовщина августовского путча.

- Завтра – праздник...
- А что праздновать-то? Трагедия. Народ проиграл.
- Под музыку Чайковского совдепию похоронили...
- Первое, что я сделала, взяла деньги и побежала в магазины. Знала, чем бы оно ни кончилось, а цены вырастут.

- Обрадовался: Горби уберут! Надоел уже этот болтун.
- Революция была декоративная. Спектакль для народа. Помню полное безразличие, с кем не заговоришь. Выжидали.
- А я позвонил на работу – и пошел делать революцию. Выгреб из буфета все ножи, которые были дома. Понимал, что война... нужно оружие...
- Я был за коммунизм! У нас в семье – все коммунисты. Вместо колыбельных мама пела нам революционные песни. И внукам сейчас поет. «Ты что, с ума сошла?» – Говорю. А она: «Я других песен не знаю». И дед был большевик... и бабка...
- Вы еще скажите, что коммунизм – красивая сказочка. У моего отца родители исчезли в лагерях Мордовии.
- Я пошел к Белому дому вместе с родителями. Папа сказал: «Пойдем. А то колбасы и хороших книг не будет никогда». Разбирали брусчатку и строили баррикады.
- Сейчас народ протрезвел, и отношение к коммунистам меняется. Можно не скрывать... Я работал в райкоме комсомола. В первый день все комсомольские билеты, чистые бланки и значки забрал домой и спрятал в подвале, потом картошку некуда было складывать. Я не знал, зачем они мне нужны, но представил, как придут отпечатывать и все это уничтожать, а это были дорогие для меня символы.
- Мы могли пойти убивать друг друга... Бог спас!
- Наша дочь лежала в роддоме. Я пришла к ней, а она: «Мам, революция будет? Гражданская война начнется?».
- Ну а я окончил военное училище. Служил в Москве. Дали бы нам приказ кого-то арестовать, то, без всяких сомнений, мы бы этот приказ выполнили. Многие бы выполнили его с усердием. Надоела неразбериха в стране. Все раньше было четко и ясно, все по предписанию. Был порядок. Военные любят так жить. Вообще люди любят так жить.
- Я боюсь свободы, придет пьяный мужик и спалит дачу.
- Какие, братцы, идеи? Жизнь коротка. Давайте выпьем!

19 августа 2001 года – десятилетний юбилей августовского путча. Я в Иркутске – столице Сибири. Беру несколько блиц-интервью на улицах города.

Вопрос:

– Что было бы, если бы ГКЧП победил?

Ответы:

- Сохранили бы великую страну...
- Посмотрите на Китай, где коммунисты у власти. Китай стал второй экономикой в мире...
- Горбачева и Ельцина судили бы как изменников Родины.
- Залили бы страну кровью... И забили бы людьми концлагеря.
- Не предали бы социализм. Не разделились бы на богатых и бедных.
- Не было бы никакой войны в Чечне.
- Никто не смел бы говорить, что Гитлера победили американцы.
- Я сам стоял у Белого дома. И у меня чувство, что меня обманули.
- Что было бы, если бы путч победил? А он и победил! Памятник Дзержинскому свергли, а Лубянка осталась. Строим капитализм под руководством КГБ.
- Моя жизнь не изменилась бы...

Про то, как вещи уравнились с идеями и словами

«Мир рассыпался на десятки разноцветных кусочков. Как нам хотелось, чтобы серые советские будни скорее превратились в сладкие картинки из американского кино! О том,

как мы стояли у Белого дома, уже мало кто вспоминал... Те три дня потрясли мир, но не потрясли нас... Две тысячи человек митингуют, а остальные едут мимо и смотрят на них как на идиотов. Много пили, у нас всегда много пьют, но тогда особенно много пили. Общество замерло: куда двинемся? То ли будет капитализм, то ли будет хороший социализм? Капиталисты жирные, страшные – это нам внушили с детства... *(Смеется.)*

Страна покрылась банками и торговыми палатками. Появились совсем другие вещи. Не топорные сапоги и старушечьи платья, а вещи, о которых мы всегда мечтали: джинсы, дубленки... женское белье и хорошая посуда... Все цветное, красивое. Наши советские вещи были серые, аскетичные, они были похожи на военные. Библиотеки и театры опустели. Их заменили базары и коммерческие магазины. Все захотели быть счастливыми, получить счастье сейчас. Как дети, открывали для себя новый мир... Перестали падать в обморок в супермаркете... Знакомый парень занялся бизнесом. Рассказывал мне: первый раз привез тысячу банок растворимого кофе – расхватили за пару дней, купил сто пылесосов – тоже в момент размели. Куртки, свитера, всякая мелочь – только давай! Все переодевались, переобувались. Меняли технику и мебель. Ремонтировали дачи... Захотели делать красивые заборчики и крыши... Начнем иногда с друзьями вспоминать, так со смеху умираем... Дикари! Совершенно нищие были люди. Всему надо было учиться... В советское время разрешалось иметь много книг, но не дорогую машину и дом. И мы учились хорошо одеваться, вкусно готовить, утром пить сок и йогурт... Я до этого презирала деньги, потому что не знала, что это такое. В нашей семье нельзя было говорить о деньгах. Стыдно. Мы выросли в стране, в которой деньги, можно сказать, отсутствовали. Я, как все, получала свои сто двадцать рублей – и мне хватало. Деньги пришли с перестройкой. С Гайдаром. Настоящие деньги. Вместо “Наше будущее – коммунизм” всюду висели растяжки “Покупайте! Покупайте!” Хочешь – путешествуй. Можешь увидеть Париж... Или Испанию... Фиеста... бой быков... Я об этом читала у Хемингуэя, читала и понимала, что никогда этого не увижу. Книги были вместо жизни... Так кончились наши ночные бдения на кухнях и начались заработки, приработки. Деньги стали синонимом свободы. Это волновало всех. Самые сильные и агрессивные занялись бизнесом. О Ленине и Сталине забыли. Так мы спаслись от гражданской войны, а то опять бы были “белые” и “красные”. “Наши” – “не наши”. Вместо крови – вещи... Жизнь! Выбрали красивую жизнь. Никто не хотел красиво умирать, все хотели красиво жить. Другое дело, что пряников на всех не хватило...»

«Советское время... У Слова был священный, магический статус. И по инерции на интеллигентских кухнях еще говорили о Пастернаке, варили суп, не выпуская из рук Астафьева и Быкова, но жизнь все время доказывала, что это уже неважно. Слова ничего не значат. В девяносто первом... Мы положили нашу маму в больницу с тяжелой пневмонией, и она вернулась оттуда героиней, у нее рот там не закрывался. Рассказывала о Сталине, об убийстве Кирова, о Бухарине... Ее готовы были слушать день и ночь. Люди тогда хотели, чтобы им открыли глаза. А недавно она снова попала в больницу, и сколько там была, столько молчала. Лет пять прошло всего-то, и реальность уже распределила роли иначе. Героиней на этот раз была жена крупного бизнесмена... Онемели все от ее рассказов... Какой у нее дом – триста квадратных метров! Сколько прислуги: кухарка, нянька, водитель, садовник... Отдыхать с мужем ездят в Европу... Музеи – понятно, а бутики... Бутики! Одно кольцо столько-то карат, а другое... А подвески... золотые клипсы... Полный аншлаг! О ГУЛАГе или о чем-то таком ни слова. Ну было и было. Что теперь спорить со стариками?

Я заходила по привычке в букинистический – там спокойно стояли все двести томов “Всемирки” и “Библиотека приключений”, та самая – оранжевая, которой я бредила. Смотрела на корешки и долго вдыхала этот запах. Лежали горы книг! Интеллигенты распродавали свои библиотеки. Публика, конечно, обеднела, но не из-за этого книги выносили из дома,

не только из-за денег – книги разочаровали. Полное разочарование. Стало уже неприлично задавать вопрос: “А что ты сейчас читаешь?” В жизни слишком многое изменилось, а в книгах этого нет. Русские романы не учат, как добиться успеха в жизни. Как стать богатым... Обломов лежит на диване, а герои Чехова все время пьют чай и жалуются на жизнь... (*Молчит.*) Не дай бог жить в эпоху перемен – говорят китайцы. Мало кто из нас сохранился таким, каким был. Куда-то исчезли приличные люди. Всюду локти и зубы...»

«Если о девяностых... Я бы не сказал, что это было красивое время, оно было отвратительное. Произошел переворот в умах на сто восемьдесят градусов... Кто-то не выдержал и сошел с ума, больницы для душевнобольных были переполнены. Я навещал там своего друга: один кричит: “Я – Сталин! Я – Сталин!”, а другой: “Я – Березовский! Я – Березовский”. Их целое отделение – сталиных и березовских. На улицах все время стреляли. Убили огромное количество людей. Каждый день шли разборки. Урвать. Успеть. Пока другие не успели. Кого-то разорили, кого-то посадили. С трона – в подвал. А с другой стороны, кайф – все происходит на твоих глазах...»

В банках стояли очереди людей, желающих начать свое дело: открыть булочную, продавать электронику... Я тоже был в этой очереди. И меня удивило, как нас много. Какая-то тетка в вязаном берете, мальчик в спортивной курточке, здоровенный мужик, смахивающий на эка... Семьдесят с лишним лет учили: не в деньгах счастье, все лучшее в жизни человек получает бесплатно. Любовь, например. Но стоило с трибуны произнести: торгуйте, богатеите – всё забыли. Все советские книжки забыли. Эти люди совсем не были похожи на тех, с кем я сидел до утра и брэнчал на гитаре. Три аккорда с грехом пополам я выучил. Единственное, что их объединяло с “кухонными” людьми, так это то, что им тоже надоели кумачовые флаги и вся эта мишура: комсомольские собрания, политзанятия... Социализм считал человека глупеньким...

Я очень хорошо знаю, что такое мечта. Все детство я просил купить мне велосипед, и мне его не купили. Бедно жили. В школе я фарцевал джинсами, в институте – советской военной формой плюс символикой разной. Иностранцы покупали. Обычная фарца. В советское время за это сажали на срок от трех до пяти лет. Отец бегал за мной с ремнем и кричал: “Спекулянт! Я под Москвой кровь проливал, а вырастил такое говнецо!”. Вчера преступление, сегодня – бизнес. В одном месте купил гвозди, в другом набойки – упаковал в полиэтиленовый мешок и продал как новый товар. Принес домой деньги. Накупил всего, полный холодильник. Родители ждали, что за мной придут и арестуют. (*Хохочет.*) Торговал бытовой техникой. Сковарками, пароварками... Пригонял из Германии машину с прицепом этого добра. Все шло валом... У меня в кабинете стояла коробка из-под компьютера, полная денег, я только так понимал, что это деньги. Берешь, берешь из этой коробки, а там все не кончается. Уже вроде все купил: тачку, квартиру... часы “Ролекс”... Помню это опьянение... Ты можешь исполнить все свои желания, тайные фантазии. Я много узнал о себе: во-первых, что у меня нет вкуса, а во-вторых, что я закомплексован. Не умею с деньгами обращаться. Я не знал, что большие деньги должны работать, они не могут лежать. Деньги – такое же испытание для человека, как власть, как любовь... Мечтал... И я поехал в Монако. В казино Монте-Карло проиграл огромные деньги, очень много. Меня несло... Я был рабом своей коробки. Есть там деньги или нет? Сколько их? Их должно быть больше и больше. Меня перестало интересовать то, что интересовало раньше. Политика... митинги... Умер Сахаров. Я пошел с ним попрощаться. Сотни тысяч людей... Все плакали, и я плакал. А тут недавно читаю о нем в газете: “Умер великий юродивый России”. И я подумал, что он вовремя умер. Вернулся из Америки Солженицын, все бросились в нему. Но он не понимал нас, а мы его. Иностранец. Он приехал в Россию, а за окном Чикаго...

Кем бы я был, если бы не перестройка? ИТР с жалкой зарплатой... (*Смеется.*) А сейчас у меня своя глазная клиника. Несколько сотен человек зависят от меня со своими семьями,

дедушками, бабушками. Вы копаетесь в себе, рефлектируете, а у меня этой проблемы нет. Я работаю день и ночь. Закупил новейшее оборудование, отправил хирургов во Францию на стажировку. Но я не альтруист, я хорошо зарабатываю. Всего добился сам... У меня было только триста долларов в кармане... Начинал бизнес с партнерами, от которых вы бы в обморок упали, если бы они сейчас зашли в комнату. Гориллы! Лютый взгляд! Теперь их уже нет, они исчезли, как динозавры. Ходил в бронезилете, в меня стреляли. Если кто-то ест колбасу хуже, чем я, меня это не интересует. Вы же все хотели, чтобы был капитализм. Мечтали! Не кричите, что вас обманули...»

Про то, что мы выросли среди палачей и жертв

«Идем вечером из кино. В луже крови лежит мужчина. На спине в плаще дырка от пули. Возле него стоит милиционер. Так первый раз я увидел убитого человека. Скоро привык к этому. Дом наш большой, двадцать подъездов. Каждое утро во дворе находили труп, и уже мы не вздрагивали. Начинался настоящий капитализм. С кровью. Я ожидал от себя потрясения, а его не было. После Сталина у нас другое отношение к крови... Помним, как свои убивали своих... И про массовые убийства людей, которые не знали, за что их убивают... Это осталось, это присутствует в нашей жизни. Мы выросли среди палачей и жертв... Для нас нормально – жить вместе. Нет границы между мирным и военным состоянием. Всегда война. Включишь телевизор – все ботают по фене: и политики, и бизнесмены, и президент: откаты, взятки, распилы... Человеческая жизнь – плюнуть и растереть. Как в зоне...»

«Почему мы не осудили Сталина? Я вам отвечу... Чтобы осудить Сталина, надо осудить своих родных, знакомых. Самых близких людей. Расскажу про свою семью... Папу посадили в тридцать седьмом; слава богу, он вернулся, но отсидел десять лет. Вернулся и очень хотел жить... Сам удивлялся, что ему после всего, что он видел, хочется жить... Так было не со всеми, далеко не со всеми... Мое поколение выросло с папами, которые вернулись или из лагерей, или с войны. Единственно, о чем они могли нам рассказать, так это о насилии. О смерти. Они редко смеялись, много молчали. И пили... пили... В конце концов спивались. Второй вариант... Те, кого не посадили, боялись, что посадят. Все это не месяц или два, а годами длилось – годами! А если не посадили, то вопрос: почему всех посадили, а меня нет? Что я делаю не так? Могли арестовать, а могли направить на работу в НКВД... Партия просит, партия приказывает. Выбор неприятный, но многие должны были его сделать... А теперь о палачах... Обыкновенных, не страшных... Донес на папу наш сосед... дядя Юра... Из-за пустяка, как говорила мама. Мне было семь лет. Дядя Юра брал на рыбалку своих ребятишек и меня, катал на лошади. Чинил наш забор. Понимаете, совсем другой портрет палача получается – обыкновенный человек, даже хороший... Нормальный... Арестовали папу и через несколько месяцев забрали папиного брата. При Ельцине мне дали его дело, там лежало несколько доносов, один написала тетя Оля... Племянница... Красивая женщина, веселая... Хорошо пела... Она уже была старая, я спросил: “Тетя Оля, расскажи о тридцать седьмом годе...” – “Это был самый счастливый год в моей жизни. Я была влюблена”, – ответила она мне... Папин брат не вернулся домой. Пропал. В тюрьме или в лагере – неизвестно. Мне было трудно, но я все-таки задал вопрос, который меня мучил: “Тетя Оля, зачем ты это сделала?” – “Где ты видел честного человека в сталинское время?” (Молчит.) А еще был дядя Павел, который служил в Сибири в войсках НКВД... Понимаете, не существует химически чистого зла... Это не только Сталин и Берия... Это и дядя Юра, и красивая тетя Оля...»

Первое мая. В этот день коммунисты проходят по улицам Москвы многотысячным маршем. Столица снова «краснеет»: красные флаги, красные шарик, красные футболки

с серпом и молотом. Несут портреты Ленина и Сталина. Портретов Сталина больше. Плакаты: «В гробу мы видели ваш капитализм!», «Красное знамя – на Кремль!». Обычная Москва стоит на тротуаре, «красная» катит лавиной по проезжей части. Между ними все время идет перепалка, местами доходящая до драк. Полиция бессильна разделить эти две Москвы. А я не успеваю записать все, что слышу...

- Похороните Ленина, причем без почестей.
- Американские лакеи! За что продали страну?
- Дураки вы, братцы...
- Ельцин и его банда украли у нас все. Пейте! Богатейте! Когда-то это кончится...
- Боятся народу прямо сказать, что строим капитализм? Оружие готовы схватить все, даже моя мама-домохозяйка.
- Штыком много чего можно сделать, но сидеть на нем неудобно.
- А я бы буржуинов проклятых танками давил!
- Коммунизм придумал еврей Маркс...
- Спаси нас может только один человек – товарищ Сталин. Его бы нам на два дня... Расстрелял бы их всех – и пусть уходит, ложится.
- И слава тебе, господи! Я всем святым поклонюсь.
- Сталинские сцуки! У вас кровь на руках еще не остыла. Царскую семью зачем убили? Не пожалели даже детей.
- Великую Россию не сделаешь без великого Сталина.
- Засрали народу мозги...
- Я простой человек. Сталин простых людей не трогал. В нашем роду никто не пострадал – все рабочие. Летели головы начальников, а простой человек жил спокойно.
- Красная гебня! Скоро договоритесь до того, что никаких лагерей не было, кроме пионерских. Мой дед был дворником.
- А мой землемером.
- Машинистом...

У Белорусского вокзал начался митинг. Толпа взрывалась то аплодисментами, то криками: «Ура! Ура! Слава!». В конце вся площадь грянула песню на мотив «Варшавянки» – русской «Марсельезы», с новым текстом: «Сбросим с себя либеральные цепи, / Сбросим кровавый преступный режим». После этого, свернув красные флаги, одни заспешили к метро, другие выстроились в очереди возле киосков с пирожками и пивом. Начались народные гуляния. Плясали и веселились. Старая женщина в красной косынке кружилась и притоптывала вокруг гармониста: «Мы весело пляшем / У елки большой. / На Родине нашей / Нам так хорошо! / Мы весело пляшем, / Мы звонко поем, / И песенку нашу / Мы Сталину шлем...». У самого метро меня догнали пьяные частушки: «Отъебися все плохое, приебись хорошее».

Про то, что нам надо выбирать: великую историю или банальную жизнь

У пивного ларька всегда шумно. Народ разный. Тут встретишь профессора, работягу, студента, бомжа... Пьют и философствуют. Все о том же – о судьбах России. О коммунизме.

– Я – человек пьющий. Почему я пью? Мне моя жизнь не нравится. Я хочу совершить кульбит невысказанный с помощью алкоголя и каким-то образом перенестись в другое место. И там все будет красиво и хорошо.

– Для меня вопрос стоит более конкретно: где я хочу жить – в великой стране или в нормальной?

- Я любил империю... Мне жизнь после империи скучна. Неинтересна.
- Великая идея требует крови. Сегодня никто не хочет умирать где-то. На какой-то войне. Как в той песне: “Всюду деньги, деньги, деньги. / Всюду деньги, господа...”. А если вы настаиваете, что у нас есть цель, то какая она? Каждому по “мерседесу” и путевке в Майами?
- Русскому человеку надо во что-то верить... Верить в светлое, возвышенное. У нас в подкорке заложена империя и коммунизм. Героическое нам ближе.
- Социализм заставлял человека жить в истории... присутствовать при чем-то великом...
- Блять! Мы такие духовные, мы такие специальные.
- Не было у нас демократии. Какие мы с вами демократы?
- Последнее великое событие в нашей жизни – перестройка.
- Россия может быть только великой или не быть совсем. Нам нужна сильная армия.
- Ну на хрена мне великая страна? Хочу жить в маленькой, такой, как Дания. Без ядерного оружия, без нефти и газа. Чтобы никто меня не бил револьвером по голове. Может, тогда мы тоже научимся тротуары шампунем мыть...
- Коммунизм – непосильная для человека задача... У нас всегда так: то ли конституции хочется, то ли севрюжины с хреном...
- Как я завидую людям, у которых была идея! А мы сейчас живем без идеи. Хочу великую Россию! Я ее не помню, но знаю, что она была.
- Была великая страна с очередью за туалетной бумагой... Я хорошо помню, как пахли советские столовые и советские магазины.
- Россия спасет мир! И сама так спасется!
- Мой отец до девяноста лет дожил. Говорил, что в его жизни ничего хорошего не было, только война. Это всё, что мы умеем.
- Бог – это бесконечное, которое есть в нас... Мы сотворены по образу и подобию...

Про все...

«Во мне советского было девяносто процентов... Я не понимала, что происходит. Помню, как выступал по телевидению Гайдар: учитесь торговать... рынок нас спасет... Купил на одной улице бутылку минеральной воды и продал ее на другой – это бизнес. Люди слушали с недоумением. Я приходила домой. Закрывала дверь и плакала. У мамы инсульт, так ее все это напугало. Может, они хотели что-то хорошее сделать, но им не хватило сострадания к собственному народу. Никогда не забуду стариков, просящих милостыню, они шеренгами стояли вдоль дороги. Застиранные шапочки, заштопанные пиджачки... Бегу на работу и с работы – боюсь глаза поднять... Работала я на парфюмерной фабрике. Вместо денег выдавали нам духи... косметику...»

«У нас в классе училась бедная девочка, ее родители погибли в автомобильной катастрофе. Она осталась с бабушкой. Весь год ходила в одном и том же платье. Так вот ее никому не было жалко. Как-то быстро стало стыдно быть бедным...»

«О девяностых не жалею... Бурлящее светлое время. Я, которая раньше не интересовалась политикой и не читала газет – пошла баллотироваться в депутаты. Кто были прорабы перестройки? Писатели, художники... Поэты... На Первом Съезде народных депутатов СССР автографы можно было собирать. Мой муж – экономист, он сходил с ума от этого: “Глаголом жечь сердца людей – это поэты умеют. Революцию вы сделаете. А дальше,

дальше – что? Как будете строить демократию? Кто? Теперь понятно, что у вас получится”. Смеялся надо мной. Мы из-за этого с ним развелись... Но он оказался прав...»

«Страшно стало, поэтому народ и пошел в храмы. Когда я верил в коммунизм, мне не нужна была церковь. А жена моя ходит со мной из-за того, что в церкви батюшка говорит ей: “Голубушка”».

«Мой отец был честным коммунистом. Я коммунистов не виню, я виню коммунизм. До сих пор не знаю, как мне относиться к Горбачеву... К этому Ельцину... Очереди и пустые прилавки забываются скорее, чем красный флаг над Рейхстагом».

«Мы победили. А кого? Зачем? По телевидению на одном канале идет фильм, где “красные” бьют “белых”, а на другом – храбрые “белые” бьют “красных”. Шизофрения!»

«Все время говорим о страдании... Это наш путь познания. Западные люди кажутся нам наивными, потому что они не страдают, как мы, у них есть лекарство от любого прыщика. Зато мы сидели в лагерях, в войну землю трупами завалили, голыми руками гребли ядерное топливо в Чернобыле... И теперь мы сидим на обломках социализма. Как после войны. Мы такие тертые, мы такие битые. У нас свой язык... Язык страдания...

Пробовал заговорить об этом со своими студентами... Смеялись мне в лицо: “Мы не хотим страдать. Для нас жизнь – это что-то другое”. Ничего еще не поняли о нашем недавнем мире, а живем в новом. Целая цивилизация – на свалке...»

Десять историй в красном интерьере

О красоте диктатуры и тайне бабочки в цементе

Елена Юрьевна С. – третий секретарь райкома партии, 49 лет

Ждали меня вдвоем – сама Елена Юрьевна, с которой мы договаривались о встрече, и ее московская подруга Анна Ильинична М., приехавшая погостить. Она тут же включилась в разговор: «Давно хочу, чтобы кто-то объяснил мне, что с нами происходит». Ничего в их рассказах не совпадало, кроме знаковых имен: Горбачев, Ельцин... Но у каждой был свой Горбачев, и свой Ельцин. И свои 90-е.

Елена Юрьевна:

– Разве уже надо рассказывать о социализме? Кому? Еще все – свидетели. Честное слово, удивлена, что вы ко мне пришли. Я – коммунистка... номенклатура... Нам же сейчас не дают слова... затыкают рот. Ленин – бандит, Сталин... Мы все преступники, хотя на моих руках нет ни капли крови. Но на нас клеймо, на всех...

Может быть, через пятьдесят или сто лет о той нашей жизни, которая называлась социализмом, будут писать объективно. Без слез и проклятий. Начнут раскапывать, как древнюю Трою. Недавно вообще хорошо сказать о социализме было нельзя. На Западе после крушения СССР поняли, что марксистские идеи не кончились, их надо развивать. Не молиться на них. Маркс не был там идиолом, как у нас. Святым! Сначала мы его боготворили, а потом предали анафеме. Все перечеркнули. Наука тоже принесла человечеству неисчислимые бедствия. Давайте тогда истреблять ученых! Проклянем отцов атомной бомбы, а еще лучше – начнем с тех, кто порох изобрел! С них... Разве я не права? (*Я не успеваю ответить на ее вопрос.*) Правильно... правильно, что из Москвы выбрались. В Россию, можно сказать, приехали. По Москве когда гуляешь, кажется, что и мы Европа: роскошные машины, рестораны... Золотые купола блестят! А вы послушайте, о чем у нас люди говорят в провинции... Россия – это не Москва, Россия – это Самара, Тольятти, Челябинск... жопинск какой-нибудь... Что на московских кухнях можно узнать о России? На тусовках? Бла-бла-бла... Москва – столица какого-то другого государства, а не того, что за кольцевой дорогой. Туристический рай. Москве не верьте...

К нам приезжают и сразу: ну, это совок. Люди живут очень бедно даже по российским меркам. Ругают богатых, злятся на всех. Ругают государство. Считают, что их обманули, никто им не говорил, что будет капитализм, они думали, что социализм начнут исправлять. Ту жизнь, которую все знали. Советскую. Пока они на митингах драли глотки: «Ельцин! Ельцин!» – их обобрали. Без них разделили заводы и фабрики. И нефть, и газ – то, что как говорится, от Бога. Но это только сейчас поняли. А в девяносто первом все в революцию пошли. На баррикады. Хотели свободы, а что получили? Ельцинскую... бандитскую революцию... Сына моей подруги чуть не убили за социалистические идеи. Слово «коммунист» было оскорблением. Свои пацаны во дворе чуть парня не убили. Знакомые. Сидели в беседке с гитарами и разговаривали: скоро, мол, пойдем стенкой на коммунистов, вешать будем их на фонарях. Мишка Слуцер – папа его у нас в райкоме работал – он мальчик начитанный, процитировал им английского писателя Честертона: «человек без утопии гораздо более страшен, чем человек без носа...». И его за это – ботинками... сапогами... «А, жиденьш! Кто революцию в семнадцатом году делал?» Я помню этот блеск в глазах людей в начале перестройки, никогда его не забуду. Коммунистов готовы были линчевать, отправ-

лять по этапу... В мусорных контейнерах валялись книги Маяковского, Горького... Сдавали на макулатуру сочинения Ленина. Я подбирала... да! Вот! Я ни от чего не отрекаюсь! Ничего не стыжусь! Не меняла масть и не перекрашивалась из красного цвета в серый. Есть такие люди: «красные» придут – они радостно встречают «красных», «белые» придут – они радостно встречают «белых». Кульбиты совершались потрясающие: вчера – коммунист, сегодня – ультрадемократ. На моих глазах «честные» коммунисты превращались в верующих и либералов. А я люблю и никогда не разлюблю слово «товарищ». Хорошее слово! Совок? Прикусите язык! Советский человек был очень хороший человек, он мог поехать за Урал, в пустыню – ради идеи, а не за доллары. Не за чужие зеленые бумажки. ДнепрогЭС, Сталинградская битва, выход в открытый космос – это все он. Великий Совок! Мне до сих пор приятно писать – СССР. Это была моя страна, а сейчас я живу не в своей стране. В чужой стране я живу.

Советской я родилась... Наша бабушка не верила в Бога, но верила в коммунизм. А наш папа до самой смерти ждал, что социализм вернется. Уже пала Берлинская стена, развалился Советский Союз, а он все равно ждал. Навеки разругался со своим лучшим другом, когда тот назвал флаг красной тряпкой. Наш красный флаг! Кумачовый! Папа был на финской войне, за что они воевали, он так и не понял, но надо было идти, и он пошел. Об этой войне молчали, называли ее не войной, а финской кампанией. Но папа нам рассказывал... Тихо. Дома. Редко, но вспоминал. Когда выпьет... Пейзаж его войны – зимний: лес и метровой высоты снег. Финны воевали на лыжах, в белых маскхалатах, появлялись везде неожиданно, как ангелы. «Как ангелы» – это папины слова... Могли за ночь вырезать заставу, целую роту. Мертвые... В папиных воспоминаниях мертвые всегда лежали в лужах крови, из сонного человека крови выходит очень много. Крови было столько, что она проедала метровой снег. После войны папа не мог зарезать даже курицу. Кролика. Сильно расстраивался от вида любого убитого животного и теплого запаха крови. Он боялся больших деревьев с густой кроной, на таких деревьях обычно прятались финские снайперы, их называли «кукушками». *(Молчит.)* Хочу добавить... От себя... После Победы наш городок утопал в цветах, это буйство какое-то было. Самый главный цветок – георгины, его клубни надо было зимой сохранять, чтобы не замерзли. Боже упаси! Их укутывали, укладывали, как будто это маленький ребенок. Цветы росли возле домов, за домами, у колодцев и вдоль заборов. После страха особенно хочется жить, радоваться. А потом цветы исчезли, сейчас этого уже нет. А я помню... Вспомнила сейчас... *(Молчит.)* Папа... Провоевал наш папа всего полгода и попал в плен. Как он попал в плен? Они наступали по замерзшему озеру, а артиллерия противника была по льду. Мало кто доплывал до берега, а те, кто доплывал, они уже были без сил и без оружия. Полуголые. Финны им тогда протягивали руки. Спасали. Кто-то хватался за эту руку, а кто-то... Было много таких, кто не принимал помощь от врага. Их так учили. А папа ухватился за чью-то руку, его вытащили. Я хорошо помню папино удивление: «Они дали мне шнапса, чтобы я согрелся. Одели в сухое. Смеялись и хлопали по плечу: “Живой, Иван!”». Папа раньше никогда не видел врагов вблизи. Не понимал, почему они радуются...

В сороковом году закончилась финская кампания... Советских военнопленных обменяли на финнов, которые находились у нас в плену. Навстречу друг другу они шли колоннами. Финнов, когда они поравнялись со своими, стали обнимать, жать им руки... наших встретили не так, их встретили как врагов. «Братцы! Родненькие!» – кинулись они к своим. – «Стоять! Шаг в сторону – стреляем!» Колонну оцепили солдаты с овчарками и повели в специально подготовленные бараки. Вокруг барачков – колючая проволока. Начались допросы... «Как ты попал в плен?» – спросил следователь папу. – «Меня финны вытащили из озера». – «Ты – предатель! Ты спасал свою шкуру, а не Родину». Папа тоже считал, что он виноват. Их так учили... Не было никакого суда. Вывели всех на плац и зачитали перед строем приказ: шесть лет лагерей за измену Родине. Отправили в Воркуту. Там они строили железную

дорогу в вечной мерзлоте. Бог мой! Сорок первый год... Немцы уже под Москвой... А им не говорили, что война началась – они же враги, будут радоваться. Уже вся Беларусь под немцами. Взят Смоленск. Когда они узнали об этом, сразу все захотели на фронт, писали письма начальнику лагеря... Сталину... Им отвечали: вы, мол, сволочи, работайте на победу в тылу, на фронте нам предатели не нужны. И они... папа... я от папы это слышала... Они все плакали... *(Молчит.)* Вот с кем бы вам встретиться... Но папы уже нет. Лагерь ему жизнь укоротил. И перестройка. Он очень страдал. Не понимал, что случилось. Со страной, с партией. Наш папа... В лагере за шесть лет он забыл, что такое яблоко и кочан капусты... простыня и подушка... Три раза в день им давали баланду, буханка хлеба – на двадцать пять человек. А спали – под голову полено, вместо матраца – доски на полу. Наш папа... Станный он был, не такой папа, как у других... Не мог ударить коня или корову, пнуть ногой собаку. Мне всегда было папу жалко. А другие мужчины над ним смеялись: «Ну какой ты мужик? Баба!». Мама плакала, что он... ну что он не такой, как все. Возьмет в руки кочан капусты и разглядывает... Помидор... Первое время вообще молчал, ничем с нами не делился. Лет через десять заговорил. Не раньше... да... Одно время в лагере он возил мертвых. За день собиралось десять-пятнадцать трупов. Живые возвращались в бараки пешком, а мертвые – на санях. С мертвецов им приказывали снимать одежду, и мертвецы лежали на санях голые, как тушканчики. Это я говорю папиными словами... Сбивчиво у меня получается... Из-за чувств... волнуясь, да... Первые два года в лагере никто из них не верил, что выживет; о доме вспоминали те, у кого был срок пять-шесть лет, а у кого срок десять-пятнадцать лет, о доме молчали. Никого они не вспоминали: ни жен, ни детей. Ни родителей. «Если начнешь вспоминать, не выживешь», – папины слова. А мы его ждали... «Вот папа вернется... и меня не узнает...», «Наш папочка...». Хотелось лишний раз произнести это слово – «папа». И он вернулся. Бабушка увидела возле калитки человека в солдатской шинели: «Солдатик, кого вы ищете?» – «Мама, ты меня не узнала?» Бабушка где стояла, там и упала. Так папа вернулся... Весь был обмороженный, ноги и руки он никогда не мог согреть. Мама? Мама говорила, что папа вернулся после лагеря добрым, а она боялась... ее пугали... что оттуда возвращаются злыми. А наш папа хотел радоваться жизни. На все случаи у него была поговорка: «Мужайся – худшее еще впереди».

Забыла... Забыла, где это происходило... в каком месте? В пересылочном лагере, что ли? На четвереньках по большому двору ползали и ели траву. Дистрофики, пеллагрики. При папе нельзя было ни на что пожаловаться, он знал: «Чтобы выжить, человеку надобно три вещи – хлеб, лук и мыло». Всего три вещи... всего... Этих людей уже нет, наших родителей... Если кто остался, то их надо в музей, под стекло, руками не трогать. Сколько они всего перенесли! Когда папу реабилитировали, ему выдали две солдатские зарплаты за все страдания. Но у нас в доме очень долго висел большой портрет Сталина. Очень долго... я это хорошо помню... Жил папа без обиды, он считал, что это время было такое. Жестокое время. Строили сильную страну. И построили, и победили Гитлера! Папины слова...

Я росла серьезной девочкой, настоящей пионеркой. Теперь у всех такое мнение, что раньше в пионерскую организацию загоняли. Никуда не загоняли. Все дети мечтали быть пионерами. Ходить вместе. С барабаном, с горном. Петь пионерские песни: «Край родной, навек любимый, / Где найдешь еще такой!», «У власти орлиной орлят миллионы, и нами гордится страна...». На нашей семье все-таки было это пятно, что папа сидел, мама боялась, что меня не примут в пионеры или не сразу примут. А мне хотелось быть со всеми. Обязательно, да... «Ты за кого: за луну или за солнце?» – устраивали мне допрос мальчишки в классе. Тут надо быть начеку! «За луну». – «Правильно! За советскую страну». А скажешь «За солнце» – «За проклятого японца». Засмеют, задразнят. Клялись мы друг другу так: «честное пионерское» или «честное ленинское». Самая большая клятва – «честное сталинское слово». Родители знали, если я сказала «честное сталинское», я не обманываю.

Бог мой! Вспоминаю не Сталина, а вспоминаю нашу жизнь... Я записалась в кружок и училась играть на аккордеоне. Маму за ударную работу наградили медалью. Не одни только мерзости были... и казарменная жизнь... В лагере папа часто видел образованных людей. Больше нигде он таких интересных людей не встречал. Некоторые из них писали стихи, и они чаще выживали. Как и священники, те молились. И папа хотел, чтобы все его дети получили высшее образование. Мечта его. Мы все – нас четверо детей – окончили институты. Но он научил нас и ходить за плугом, и косить траву. Я умею подать на воз сено, уложить стог. «Все может пригодиться», – считал папа. Он был прав.

Мне сейчас хочется вспоминать... Я хочу понять то, что прожито. Не только свою жизнь, а нашу... советскую... Я не в восторге от собственного народа. И от коммунистов тоже, и от наших коммунистических лидеров. Сегодня особенно. Все измельчали, обуржуазились, все хотят хорошо, сладко хотят жить. Потреблять и потреблять. Ухватить! Коммунисты тоже уже не те. У нас есть коммунисты с годовым доходом в сотни тысяч долларов. Миллионеры! Квартира в Лондоне... дворец на Кипре... Что это за коммунисты? В чем же их вера? Спросишь – как на дурочку посмотрят. «Не рассказывайте нам советские сказки. Вот этого не надо». Разрушили такую страну! Распродали по бросовым ценам. Нашу Родину... Чтобы кто-то мог ругать Маркса и ездить по европам. Время такое же страшное, как и при Сталине... Я отвечаю за свои слова! Напишите это? Не верю... (*И я вижу – не верит.*) Уже нет ни райкомов, ни обкомов. Расстались с советской властью. А что получили? Ринг, джунгли... Власть воров... Хватали – кто быстрее, пирог большой. Бог мой! Чубайс... «прораб перестройки»... теперь он хвастается, лекции по всему миру читает. Мол, в других странах капитализм складывался столетиями, а у нас за три года. Действовали хирургическим методом... А если кто-то наворовал, то и слава богу, может, их внуки будут порядочными людьми. Бррр! И это демократы... (*Молчит.*) Американский костюмчик примеряли, слушали дядю Сэма. А американский костюмчик не налазит. Криво сидит. Вот! Не за свободой побежали, а за джинсами... за супермаркетами... Купились на яркие упаковки... Теперь и у нас в магазинах полно всего. Изобилие. Но горы колбасы никак не связаны со счастьем. Со славой. Был великий народ! Сделали из него торгашей и мародеров... лабазников и менеджеров...

Пришел Горбачев... Заговорили о возвращении ленинских принципов. Общее воодушевление. Возбуждение. Народ давно ждал перемен. В свое время поверили Андропову... Ну кагэбист, да... Как вам объяснить? КПСС уже не боялись. Возле пивного ларька мужики могли партию обматерить, а кагэбэ – никогда... Вы что! В памяти сидело... Знали, что железной рукой, каленым железом, ежовой рукавицей... эти ребята наведут порядок. Не хочется повторять банальные вещи, но Чингисхан гены нам испортил... и крепостное право... Привыкли, что бить всех надо, без битья ничего не получится. Андропов с этого и начал – с закручивания гаек. Все разболтались: в рабочее время ходили в кино, в баню, бегали по магазинам. Чаи распивали. Милиция стала рейды проводить, облавы. Проверяли документы и хватали прогульщиков прямо на улицах, в кафе, в магазинах и сообщали на работу. Штрафовали, увольняли. Но Андропов тяжело болел. Быстро умер. Мы их хоронили, хоронили. Брежнев, Андропов, Черненко... Самый популярный анекдот до Горбачева: «Передаем сообщение ТААС. Вы будете сильно смеяться, но умер очередной Генеральный секретарь ЦК КПСС...» Ха-ха-ха... Народ на своих кухнях смеялся, а мы на своих. На пяточке свободы. Кухонная болтовня... (*Смеется.*) Отлично помню, как во время разговоров включали громко телевизор или радио. Целая наука. Учили друг друга, как ухитриться, чтобы гэбистам, прослушивающим телефонные разговоры, ничего не было слышно: прокручиваешь диск – старые телефоны были с дырочками для цифр – вставляешь в одну из них карандаш и фиксируешь... можно пальцем держать, но палец же устает... Наверное, вас тоже учили? Помните? Надо что-нибудь «секретное» сказать, отходили на два-три метра от телефона, от трубки. Стукаче-

ство, прослушка – это было везде, во всем обществе сверху и донизу, и мы в райкоме гадали: кто у нас стукач? Как потом выяснилось, подозревала я невинного человека, а доносчик был не один, их было несколько. Вот на этих я никогда бы не подумала... Одна из них – наша уборщица. Приветливая, добрая женщина. Несчастливая. Муж – пьяница. Бог мой! Сам Горбачев... генеральный секретарь ЦК КПСС... Читала в одном его интервью, как во время конфиденциальных бесед у себя в кабинете он делал то же самое – включал телевизор на всю громкость или радио. В общем, азбука. Приглашал для серьезных разговоров на свою дачу за город. И они там... Там они выходили в лес, гуляли и разговаривали. Птички не донесут... Все чего-то боялись, боялись и те, кого боялись. Я боялась.

Последние советские годы... Что я помню? Чувство стыда не покидало. За обвешенного орденами и «звездами» Брежнева и за то, что Кремль в народе прозвали комфортабельным домом престарелых. За пустые прилавки. Планы выполняем и перевыполняем, а в магазинах ничего нет. Где наше молоко? Мясо? Я и теперь не понимаю, куда это все девалось. Молоко кончалось через час после того, как открывались магазины. С обеда продавцы стояли возле чисто вымытых лотков. На полках – трехлитровые банки березового сока и пачки соли, почему-то всегда мокрые. Килька в банках. Все! Выбросят в продажу колбасу – ее разметут в момент. Сосиски и пельмени – деликатес. В райкоме все время что-то делили: этому заводу – десять холодильников и пять шуб, а этому колхозу – два югославских мебельных гарнитура и десять польских женских сумочек. Кастрюли и женское белье делили... колготки... Такое общество могло держаться только на страхе. На чрезвычайке – побольше стрелять и побольше сажать. Но социализм с Соловками и Беломорканалом кончился. Нужен был какой-то другой социализм.

Перестройка... Был момент, когда люди снова потянулись к нам. Вступали в партию. Большие у всех ожидания. Все тогда были наивные – левые и правые, коммунисты и антисоветчики. Все – романтики. Сегодня за это стыдно, за ту свою наивность. Молятся на Солженицына. Великий старец из Вермонта! Не один Солженицын, многие уже понимали, что так, как мы живем, жить нельзя. Заврались. И коммунисты – верите вы мне или нет? – тоже это понимали. Среди коммунистов было немало умных и честных людей. Искренних. Я лично знала таких людей, особенно часто они встречались в провинции. Как мой отец... Отца не приняли в партию, он пострадал от партии, но он ей верил. Верил партии и стране. Каждое утро у него начиналось с того, что он открывал газету «Правда» и прочитывал ее от и до. Коммунистов без партбилетов было больше, чем с партбилетами, они душой были коммунисты. (*Молчит.*) На всех демонстрациях несли лозунг «Народ и партия – едины!». Эти слова – не выдумка, это была правда. Я никого не агитирую, я рассказываю, как оно было. Уже все забыли... Многие вступали в партию по совести, а не только из-за карьеры или из прагматических соображений: если я беспартийный и украду – меня посадят, если я вступлю в партию и украду – меня выгонят из партии, но не посадят. Я негодную, когда о марксизме отзываются презрительно, с насмешкой. Скорее его – в мусорный бачок! На свалку! Это великое учение, оно переживет все гонения. И нашу советскую неудачу – тоже. Потому что... есть много причин... Социализм – это не только лагеря, стукачество и железный занавес, это и справедливый, ясный мир: со всеми делиться, слабым жалеть, сострадать, а не подгрести все под себя. Мне говорят: нельзя было купить машину, но ни у кого не было машины. Никто не носил костюмы от Версаче и не покупал дом в Майами. Бог мой! Вожди СССР жили на уровне бизнесменов средней руки, до олигархов им не дотянуть. Слабо! Не строили они себе яхт с душем из шампанского. Подумать только! По телевизору передают рекламу: купайте медные ванны – стоимостью с двухкомнатную квартиру. Для кого они, скажите? Позолоченные дверные ручки... Это – свобода? Маленький, рядовой человек – никто, он – ноль. На дне жизни. А тогда он мог написать в газету, пойти и пожаловаться в райком: на начальника или на плохое обслуживание... на неверного мужа... Были глупости, не отрицаю,

но кто сегодня этого простого человека вообще слушает? Кому он нужен? Помните советские названия – улица Metallургов, Энтузиастов... Заводская, Пролетарская... Маленький человек... он был главный... Декларация, ширма, как вы говорите, а сейчас и прятаться никому не надо. Нет денег – пошел вон! Под лавку! Улицы переименовывают: Мещанская, Купеческая, Дворянская... Даже колбасу я видела «Княжескую», а вино «Генеральское». Культ денег и успеха. Выживает сильнейший, с железными бицепсами. Но не все способны идти по головам, вырывать кусок у другого. У одних природа такая, что они не могут, а другим противно.

С ней... (*Кивает в сторону подруги.*) Спорим, конечно... Она мне доказывает, что для истинного социализма требуются идеальные люди, а их нет. Идея это бред... сказка... Наш человек уже ни за что не поменяет свою потрепанную иномарку и паспорт с шенгенской визой на советский социализм. А я верю в другое: человечество идет в сторону социализма. К справедливости. Другого пути нет. Посмотрите на Германию... Францию... Есть шведский вариант. А какие ценности у русского капитализма? Презрение к «людишкам»... К тем, у кого нет миллиона, нет «мерседеса». Вместо красного флага – Христос воскрес! И культ потребления... Человек засыпает с мыслью не о чем-то таком высоком, а о том, что он сегодня чего-то не купил. Вы думаете, что страна развалилась, потому что узнали правду о ГУЛАГе? Так думают те, кто книги пишет. А человек... нормальный человек историей не живет, он живет проще: влюбился, женился, дети родились. Дом построил. Страна пропала из-за дефицита женских сапог и туалетной бумаги, из-за того, что апельсинов не было. Этих джинсов проклятых! Теперь наши магазины похожи на музеи. На театры. И меня хотят убедить, что тряпки от Версаче и Армани – это все, что необходимо человеку. Ему этого достаточно. Жизнь – это финансовые пирамиды и векселя. Свобода – это деньги, а деньги – свобода. А наша жизнь копейки не стоит. Ну, это... ну, это... понимаете... Я даже слов не нахожу, как назвать... Мне жалко моих маленьких внучек. Жалко. Им это по телевизору каждый день вбивают в голову. Я не согласна. Я была и остаюсь коммунисткой.

Прерываемся надолго. Неизменный чай, на этот раз с вишневым вареньем, сваренным по собственному рецепту хозяйки.

Восемьдесят девятый год... Я к этому времени уже была третьим секретарем райкома партии. На партработу меня взяли из школы, я преподавала русский язык и литературу. Моих любимых писателей – Толстого, Чехова... Когда предложили – испугалась. Такая ответственность! Но ни минуты не колебалась, был искренний порыв – служить партии. В то лето я приехала домой в отпуск. Обычно украшений не ношу, а тут купила себе какие-то бусы дешевенькие, мама меня увидела: «Ты – как царица». Была мной восхищена... ну не бусами же! Папа сказал: «Никто из нас тебя ни о чем просить не придет. Ты должна быть чистой перед людьми». Родители гордились! Были счастливы! А я... я... что переживала я? Верила ли я партии? Честно отвечу – верила. И сейчас верю. С партийным билетом не расстанусь, что бы ни случилось. Верила ли я в коммунизм? Честно скажу, не буду врать: я верила в возможность справедливого устройства жизни. И сейчас... я уже говорила... верю. Мне надоело слушать рассказы о том, как нам плохо жилось при социализме. Горжусь советским временем! Шикарной жизни не было, но нормальная жизнь была. Была любовь и дружба... платья и туфли... Жадно слушали писателей и артистов, а теперь перестали. Место поэтов на стадионах заняли колдуны и экстрасенсы. Колдунам верят, как в Африке. Наша... советская жизнь... это была попытка альтернативной цивилизации, если хотите. Если с пафосом... Власть народа! Ну не могу успокоиться! Где вы сегодня увидите доярок, токарей или машинистов метро? Нет их – ни на страницах газет, ни на экранах телевизоров, ни в Кремле, когда вручают ордена и медали. Нигде их нет. Везде новые герои: банкиры и бизнесмены, модели и интердевочки... менеджеры... Молодые еще могут приспособиться, а старики умирают молча, за закрытыми дверями. В нищете умирают, в забвении. У меня пенсия – пятьдесят

долларов... *(Смеется.)* И у Горбачева, я читала, пятьдесят долларов... Про нас говорят: «Коммунисты жили в хоробах, ели черную икру ложками. Себе они построили коммунизм». Бог мой! Я вас водила по своим «хоробам» – обычная двухкомнатная квартира, общая площадь – пятьдесят семь метров. Ничего не спрятали: советский хрусталь, советское золото...

– А спецполиклиники и спецпайки, «свои» очереди на получение квартир и казенные дачи... партийные санатории?

– Честно? Было это... ну было... но больше там... *(Поднимает руку вверх.)* А я всегда внизу, самое нижнее звено власти. Внизу, возле людей. Всегда на виду. Если где-то и было... не спорю... Не отрицаю! Читала, как и вы, в перестроечных газетах... что дети секретарей ЦК летали охотиться в Африку. Бриллианты скупали... Все равно не сравнить это с тем, как живут сейчас «новые русские». С их замками и яхтами. Посмотрите, что понастроили они вокруг Москвы. Дворцы! Двухметровые каменные заборы, проволока с электрическим током, видеонаблюдение. Вооруженные охранники. Как в зоне или на секретном военном объекте. Что, там Билл Гейтс живет, компьютерный гений? Или Гарри Каспаров, чемпион мира по шахматам? Там живут победители. Гражданской войны вроде как не было, а победители есть. Там они – за каменным забором. От кого они прячутся? От народа? Народ думал, что прогонит коммунистов и наступят прекрасные времена. Райская жизнь. Вместо свободных людей появились эти... с миллионами и миллиардами... Гангстеры! Стреляют среди бела дня... Даже у нас одному бизнесмену балкон разнесли. Никого не боятся. Летают в личных самолетах с позолоченными унитазами, еще и хвастаются. Сама видела по телевизору... один показывал свои часы ценой в бомбардировщик. А другой – мобильник с бриллиантами. И никто! никто не крикнет на всю Россию, что это стыдно. Мерзко. Когда-то были Успенский и Короленко. Шолохов написал Сталину письмо в защиту крестьян. Теперь я хочу... Вы меня спрашиваете, а я хочу у вас спросить: где наша элита? Почему я читаю каждый день в газетах мнение по любому поводу Березовского и Потанина, а не Окуджавы... Искандера... Как так случилось, что вы уступили свое место? Свою кафедру... И первыми побежали к обедам со стола олигархов. В услужение. Русская интеллигенция раньше не бегала и не прислуживала. А теперь никого не осталось – нет никого, кто скажет про дух, кроме попа. А где перестройщики?

У коммунистов моего поколения было мало общего с Павкой Корчагиным. С первыми большевиками с портфелями и револьверами. От них осталась только военная лексика: «солдаты партии», «трудовой фронт», «битва за урожай». Мы уже не чувствовали себя солдатами партии, мы были служащие партии. Клерки. Существовал такой обряд – светлое будущее: в актовом зале висел портрет Ленина, в углу стояло красное знамя. Обряд... ритуал... Солдаты были уже не нужны, требовались исполнители: «давай-давай», а нет – так «партибилет на стол». Приказали – сделал. Доложил. Партия не военный штаб, а аппарат. Машина. Бюрократическая машина. Гуманитариев на службу брали редко, партия им не доверяла со времен Ленина, который писал об интеллигентском сословии: «не мозг, а говно нации». Таких, как я, было мало. Филологов. Кадры ковали из инженеров, зоотехников, из тех, чья специальность – машины, мясо и зерно, а не человек. Кузницы партийных кадров – сельскохозяйственные институты. Нужны были дети рабочих и крестьян. Из народа. Доходило до смешного: ветеринара, например, могли взять на партийную работу, а врача-терапевта – нет. Не встречала там ни лириков, ни физиков. Что еще? Субординация, как в армии... Подъем наверх медленный, со ступеньки на ступеньку: лектор райкома партии, затем – заведующий парткабинетом... инструктор... Третий секретарь... второй секретарь... Я все ступени за десять лет прошла. Это сейчас младшие научные сотрудники и завлабы рулят страной, председатель колхоза или электрик становится президентом. Вместо колхоза – сразу страна! Такое случается только в революцию... *(Вопрос – то ли ко мне, то ли к себе.)* Не знаю, как назвать то, что произошло в девяносто первом...

Революция или контрреволюция? Никто не пробует даже объяснить, в какой стране мы живем. Какая у нас идея, кроме колбасы? Что строим... Идем вперед – к победе капитализма. Так? Сто лет ругали капитализм: чудовище... монстр... А теперь гордимся, что у нас будет как у всех. Если станем как все, кому мы будем интересны? Народ-богоносец... надежда всего прогрессивного человечества... *(Иронично.)* О капитализме у всех такое же представление, как недавно о коммунизме. Мечты! Судят Маркса... винят идею... Идея-убийца! А я виню исполнителей. У нас был сталинизм, а не коммунизм. А сейчас ни социализма, ни капитализма. Ни восточной модели, ни западной. Ни империи, ни республики. Болтаемся, как... Помолчу... Сталин! Сталин! Хоронят его... хоронят... А закопать никак не получается. Не знаю как в Москве, а у нас его портреты ставят под ветровое стекло в автомобилях. В автобусах. Дальнбойщики особенно его любят. В мундире генералиссимуса... Народ! Народ! А что народ? Народ сам про себя сказал: из него и дубина, и икона. Как из дерева... Что сделаешь, то и будет... Качается наша жизнь между бараком и бардаком. Сейчас маятник посередине... Полстраны ждет нового Сталина. Вот придет он и наведет порядок... *(Опять молчит.)* У нас... конечно... в райкоме тоже было много разговоров о Сталине. Партийная мифология. Ее передавали из поколения в поколение. Все любили разговоры о том, как жили при Хозяине... Сталинские порядки были такие: например, заведующим секторами ЦК разносили чай с бутербродами, а лекторам – просто чай. Ввели должность заместителя заведующего сектора. Как быть? Им решили подавать чай без бутербродов, но на белой салфетке. Уже они отмечены... взобрались на Олимп к богам, к героям. Теперь надо протиснуться к месту у корыта... Так было и при Цезаре, и при Петре Первом. И так будет всегда. Полюбуйтесь на своих демократов... Взяли власть и тут же бегом – куда? К кормушке. К рогу изобилия. Кормушка прикончила не одну революцию. На наших глазах... Ельцин боролся с привилегиями и называл себя демократом, а теперь любит, когда его величают царем Борисом. Стал крестным отцом...

Перечитала «Окаянные дни» Ивана Бунина. *(Достает с полки книгу. Находит закладку и читает.)* «Помню старика рабочего у ворот дома, где прежде были “Одесские Новости”, в первый день водворения большевиков. Вдруг выскочила из-под ворот орава мальчишек с кипами только что отпечатанных “Известий” и с криками: “На одесских буржуев наложена контрибуция в 500 миллионов!” – Рабочий захрипел, захлебнулся от ярости и злорадства: “Мало! Мало!”». Вам это ничего не напоминает? Мне... да... Напоминает... Горбачевские годы... первые бунты... Когда народ стал вываливать на площади и требовать – то хлеба, то свободы... то водки и курева... Страх! Инсульты и инфаркты у многих партработников. «В кольце врагов», как партия учила, жили, в «осажденной крепости». К мировой войне готовились... Больше всего боялись ядерной войны, а развала не ждали. Не ждали... никак... Привыкли к майским и октябрьским колоннам, к плакатам: «Дело Ленина переживет века», «Партия – наш рулевой». А тут не колонны, а стихия. Не советский народ, а какой-то другой, незнакомый нам. И плакаты другие: «Коммунистов под суд!», «Раздавим коммунистическую гадину!». Сразу вспомнился Новочеркасск... Информация была закрытая, но мы знали... как при Хрущеве голодные рабочие вышли на улицы... их расстреляли... Тех, кто остался в живых, рассовали по лагерям, до сих пор их родные не знают, где они... А тут... тут уже перестройка... Стрелять нельзя, сажать тоже. Надо разговаривать. А кто из нас мог выйти к толпе и держать речь? Начать диалог... агитировать... Мы были аппаратчики, а не ораторы. Я, например, читала лекции и капиталистов клеймила, негров в Америке защищала. В моем кабинете стояло полное собрание сочинений Ленина... пятьдесят пять томов... Но кто его по-настоящему читал? Пролистывали в институтах перед экзаменами: «Религия – опиум народа» и «всякий боженька есть труположество».

Панический был страх... Лекторы, инструкторы, секретари райкомов и обкомов – все мы боялись выезжать к рабочим на завод, к студентам в общежитие. Пугались телефон-

ных звонков. А вдруг спросят о Сахарове или о Буковском... что отвечать? Враги они советской власти или уже не враги? Как оценивать «Дети Арбата» Рыбакова и пьесы Шатрова? Никакой команды сверху... Раньше тебе сказали – ты выполнил поручение, провел линию партии в жизнь. А тут: бастуют учителя, требуют повышения зарплаты, молодой режиссер в каком-то заводском клубе репетирует запрещенную пьесу... Бог мой! На картонной фабрике рабочие на тачке вывезли за ворота своего директора. Горланили. Били стекла. Ночью зацепили железным тросом и свалили памятник Ленину. Показывали ему кукиши. Партия растерялась... Я помню растерянную партию... Сидели в своих кабинетах за закрытыми шторами. У входа в здание райкома днем и ночью дежурил усиленный наряд милиции. Боялись народа, а народ еще по инерции боялся нас. Потом бояться перестали... Собирались на площади тысячи людей... Плакат запомнила: «Даешь 1917 год! Революцию!». Была потрясена. Пэтэушники какие-то с ним стояли... молодые ребята... Птенцы! Один раз пришли в райком парламентареры: «Покажите свой спецмагазин! У вас там всего полно, а наши дети в голодные обмороки падают на уроках». Никаких норковых шуб и черной икры в нашем буфете они не нашли, но все равно не поверили: «Обманываете простой народ». Все пришло в движение. Зашаталось. Горбачев был слаб. Лавировал. Вроде он за социализм... и капитализма хочется... Больше думал о том, как понравиться в Европе. В Америке. Там ему аплодировали: «Горби! Горби! Ай да Горби!». Заболтал перестройку... *(Молчит.)*

Социализм умирал на наших глазах. И пришли эти мальчики железные.

Анна Ильинична:

– Это было недавно, но это было в другую эпоху... В другой стране... Там осталась наша наивность, наш романтизм. Доверчивость. Кто-то не хочет об этом вспоминать, потому что неприятно, мы пережили много разочарований. Ну кто сказал, что ничего не изменилось? Библию нельзя было перевезти через границу. Это забыли? В подарок из Москвы я возила родственникам в Калугу муку и макаронны. И они были счастливы. Забыли? Никто уже не стоит в очереди за сахаром и мылом. И нет талонов на пальто.

Я полюбила Горбачева сразу! Теперь его проклинаяют: «Предатель СССР!», «Горбачев продал страну за пиццу!». А я помню наше удивление. Потрясение! Наконец-то у нас нормальный лидер. Не стыдно за него! Друг другу пересказывали, как в Ленинграде он остановил кортеж и вышел к народу, а на каком-то заводе отказался от дорогого подарка. Во время традиционного застолья выпил только стакан чая. Улыбается. Выступает без бумажки. Молодой. Никто из нас не верил, что советская власть когда-нибудь кончится и в магазинах появится колбаса, а за импортными бюстгальтерами не будут выстраиваться километровые очереди. Привыкли всё по знакомству доставать: подписку на «всемирку», шоколадные конфеты и гэдээровские спортивные костюмы. Дружить с мясником, чтобы купить кусок мяса. Советская власть казалась вечной. Хватит еще на детей и внуков! А она неожиданно для всех кончилась. Теперь ясно, что и сам Горбачев этого не ожидал, он хотел что-то изменить, но не знал – как. Никто не был готов. Никто! Даже те, кто долбил эту стену. Я – рядовой технолог. Не герой, нет... и не коммунистка... Благодаря своему мужу, он – художник, я рано попала в богемную среду. Поэты, художники... Среди нас не было героев, ни у кого не хватило смелости стать диссидентом, отсидеть в тюрьме или в психушке за свои убеждения. Жили с фигой в кармане.

Сидели на кухнях, ругали советскую власть и травили анекдоты. Читали самиздат. Если кто-то доставал новую книгу, он мог прийти в дом к друзьям в любое время суток – даже в два-три часа ночи, все равно это был желанный гость. Я хорошо помню ту ночную московскую жизнь... особенную... Там были свои герои... свои трусы и предатели... Свой восторг! Объяснить это человеку непосвященному невозможно. Прежде всего наш восторг я не могу объяснить. И не могу объяснить другое... Вот это... Ночная наша жизнь... ну

совсем она не была похожа на дневную. Ни капли! Утром мы все шли на работу и становились обыкновенными советскими людьми. Как и все остальные. Пахали на режим. Либо ты конформист, либо тебе надо идти в дворники и сторожа, другого способа сохранить себя не было. Возвращались со службы домой... И опять пили водку на кухнях, слушали запрещенного Высоцкого. Ловили сквозь треск глушилок «Голос Америки». Я до сих пор помню этот великолепный треск. Крутили бесконечные романы. Влюблялись, разводились. И многие при этом чувствовали себя совестью нации, считали, что вправе поучать свой народ. А что мы о нем знали? То, что прочитали в «Записках охотника» Тургенева и у наших «деревенщиков». У Распутина... Белова... Я даже своего отца не понимала. Кричала ему: «Папа, если ты не вернешь им свой партбилет, то я с тобой разговаривать не буду». Папа плакал.

У Горбачева было власти больше, чем у царя. Неограниченная власть. А он пришел и сказал: «Так больше жить нельзя». Его знаменитая фраза. И страна превратилась в дискуссионный клуб. Спорили дома, на работе, в транспорте. Из-за разных взглядов семьи распались, дети ссорились с родителями. Одна моя знакомая так разругалась с сыном и невесткой из-за Ленина, что выгнала их на улицу, они жили зимой за городом на холодной даче. Театры опустели, все сидели дома перед телевизором. Шли прямые репортажи с первого Съезда народных депутатов СССР. Перед этим была целая история, как мы выбирали этих депутатов. Первые свободные выборы! Настоящие! По нашему округу проходили две кандидатуры: какой-то партийный чиновник и молодой демократ, преподаватель университета. Помню и сейчас его фамилию – Малышев... Юра Малышев. Сейчас он, я случайно узнала, занимается агробизнесом – помидорами и огурчиками торгует. А тогда – революционер! Выступал и говорил такую крамолу! Неслыханную! Марксистско-ленинскую литературу называл малолитражной... нафталиновой... Шестую статью Конституции требовал отменить, а это статья о руководящей роли КПСС. Краеугольный камень марксизма-ленинизма... Я слушала и не могла себе это представить. Бредятина! Кто даст... позволит тронуть? Все развалится... Это же скрепы... Настолько мы были все зомбированные. Я советского человека выдавливала из себя годами, ведрами вычерпывала. *(Молчит.)* Наша команда... Нас набралось человек двадцать добровольных помощников, после работы мы обходили квартиры в своем районе и агитировали. Рисовали плакаты: «Голосуй за Малышева!». И представьте себе – он победил! С большим перевесом. Первая наша победа! Потом мы все балдели от прямых репортажей со съезда – депутаты высказывались еще более откровенно, чем мы на кухнях. Или не дальше двух метров от кухни. Все торчали у телевизоров, как наркоманы. Не могли оторваться. Вот сейчас Травкин им даст! Да-а-ал! А Болдырев? Сейчас он... Во молодец!

Неописуемая страсть к газетам и журналам, к периодике больше, чем к книгам. Тиражи «толстых журналов» рванули вверх до миллионов экземпляров. Утром в метро изо дня в день перед глазами одна и та же картина: весь вагон сидит и читает. Те, кто стоят, тоже читают. Обмениваются друг с другом газетами. Незнакомые люди. Мы с мужем выписывали двадцать наименований, одну зарплату полностью тратили на подписку. С работы я бежала скорей домой, чтобы залезть в халат и читать. Недавно умерла моя мама, она говорила: «Я умираю, как крыса на помойке». Ее однокомнатная квартира напоминала читальный зал: журналы, газеты – стопками на книжных полках, в шкафу. На полу и в прихожей. Драгоценный «Новый мир» и «Знамя»... «Даугава»... Всюду – коробки вырезок. Большие коробки. Я отвезла все на дачу. Выбросить жалко, отдать – кому? Макулатура сейчас! А все читано-перечитано. Много подчеркиваний – красным карандашом, желтым. Красным – самое важное. Полтонны, я думаю, у меня лежит. Вся дача забита.

Вера была искренняя... наивная вера... Поверили, что вот сейчас... уже стоят на улице автобусы, которые повезут нас в демократию. Будем жить в красивых домах, а не в серых «хрущевках», построим автобаны вместо раздолбанных дорог, станем все добрыми. Рациональных доказательств этому никто не искал. Их и не было. А зачем? Верили сердцем,

а не рассудком. И голосовали на избирательных участках сердцем. Никто конкретно не говорил, что надо делать: свобода – и все. Если ты сидишь в закрытом лифте, то мечтаешь об одном – чтобы лифт открылся. У тебя счастье, когда его открыли. Эйфория! Ты не думаешь о том, что ты сейчас должен что-то делать... ты наконец дышишь полной грудью... Ты уже счастлив! Моя подруга вышла замуж за француза, он работал в московском посольстве. И вот он все время от нее слышал: посмотри, мол, какая у нас, у русских, энергия. «Ты мне объясни, для чего эта энергия?» – спрашивал он у нее. Ни она, ни я не могли ничего ему объяснить. Я ему так и отвечала: бьет энергия – и все. Я видела вокруг себя живых людей, живые лица. Какие все были в то время красивые! Откуда взялись эти люди? Вчера же их еще не было!

Телевизор у нас в доме не выключался... Программу «Новости» смотрели каждый час. У меня только родился сын, я выходила с ним во двор и обязательно брала с собой приемник. Люди собак прогуливали с приемниками. Смеемся теперь над сыном: ты у нас с детства в политике – а ему это не интересно. Слушает музыку, учит языки. Хочет увидеть мир. Другим живет. Наши дети не похожи на нас. На кого они похожи? На свое время, друг на друга. А мы тогда... Ой-ой! Сейчас Собчак на съезде выступает... Все бросают дела и бегут к экрану. Мне нравилось, что Собчак в каком-то красивом, кажется, вельветовом пиджаке, галстук завязан «по-европейски». Сахаров на трибуне... Значит, у социализма может быть «человеческое лицо»? Вот оно... Для меня это было лицо академика Лихачева, а не генерала Ярузельского. Если я говорила «Горбачев», то мой муж добавлял «Горбачев... и Раиса Максимовна тоже». Первый раз мы увидели жену генсека, за которую было не стыдно. Красивая фигура, хорошо одета. Любят друг друга. Кто-то принес нам польский журнал, где писалось, что Раиса – шик! Как мы гордились! Бесконечные митинги... Улицы утопали в листовках. Кончался один митинг, начинался другой. Люди шли и шли, каждый думал, что он придет туда и получит какое-то откровение. Вот сейчас правильные люди найдут правильные ответы... Впереди ждала неизвестная жизнь, она всех привлекала. Казалось, что царство свободы уже на пороге...

Но жизнь становилась все хуже. Скоро, кроме книг, ничего уже нельзя было купить. Одни книги на прилавках...

Елена Юрьевна:

Девятнадцатого августа девяносто первого... Приезжаю в райком. Иду по коридору и слышу: во всех кабинетах, на всех этажах включено радио. Секретарша передает просьбу «первого» зайти к нему. Захожу. У «первого» громко работает телевизор, сам он, мрачный, сидит возле приемника, ловит то «Свободу», то «Немецкую волну»... «Би-би-си»... Все, что доступно. На столе список членов Государственного комитета по чрезвычайному положению... ГКЧП... как его потом назовут. «Один Варенников, – говорит он мне, – внушает уважение. Все-таки боевой генерал. Воевал в Афганистане». Заходят второй секретарь... заведующий орготделом... Начинается у нас разговор: «Какой ужас! Будет кровь. Зальемся кровью». – «Всех не зальют, а зальют кого надо». – «Давно пора спасти Советский Союз». – «Навалят горы трупов». – «Ну все, Горбач допрыгался. Наконец-то нормальные люди, генералы, придут к власти. Бардак кончится». «Первый» объявил, что утреннюю планерку решил не проводить – о чем докладывать? Никаких указаний не поступило. При нас он позвонил в милицию: «Что у вас слышно?» – «Ничего». Еще поговорили о Горбачеве – то ли болен, то ли арестован. Все больше склонялись к третьему варианту – удрал с семьей в Америку. А куда же еще?

Так весь день и просидели у телевизоров и телефонов. Тревожно: чья там, наверху, возьмет? Ждали. Я вам честно скажу, ждали. Все это немного напоминало свержение Хрущева. Мемуаров-то уже начитались... Разговоры, разумеется, об одном... Какая сво-

бода? Свобода нашему человеку – как мартышке очки. Никто не знает, что с ней делать. Все ларечки эти, базарчики... ну не лежит к ним душа. Я вспомнила, как пару дней назад встретила своего бывшего водителя. Такая история... К нам в райком парень попал сразу после армии. По какому-то крупному благу. Был страшно доволен. Но начались перемены, разрешили кооперативы, и он от нас ушел. Занялся бизнесом. Я с трудом его узнала: стриженный наголо, кожаная куртка, спортивный костюм. Это у них, как я поняла, униформа такая. Похвастался, что за один день зарабатывает больше, чем первый секретарь райкома партии за месяц. Бизнес беспроектный – джинсы. Арендовали с другом обычную прачечную и там делают «варенки». Технология простая (голь на выдумки хитра): обыкновенные, банальные джинсы бросают в раствор отбеливателя или хлорки, добавляют туда битый кирпич. Пару часов «варят» – на брюках полосы, разводы, рисунки... Абстракционизм! Просушивают и приклеивают лейбл «Монтана». Меня сразу осенило: если ничего не изменится, они, эти продавцы джинсов, будут скоро нами командовать. Нэпманы! И накормят всех, и оденут, как это ни смешно. В подвалах заводы построят... Так оно и вышло. Вот! Теперь этот парень – миллионер или миллиардер (для меня миллион и миллиард одинаково сумасшедшая сумма), депутат Госдумы. Один дом на Канарах... второй – в Лондоне... При царе в Лондоне жили Герцен и Огарев, теперь они... наши «новые русские»... Джинсовые, мебельные, шоколадные короли. Нефтяные.

В девять вечера «первый» еще раз собрал всех у себя. Докладывал начальник районного КГБ. Рассказал о настроениях среди людей. По его словам, народ поддерживал ГКЧП. Не возмущался. Горбачев всем надоел... Талоны на все, кроме соли... водки нет... Ребята из КГБ побегали по городу и записали разговоры. Перепалки в очередях: «Переворот! Что будет со страной?» – «А что у тебя-то перевернулось? Кровать на месте стоит. Водка – та же». – «Вот и кончилась свобода». – «Ага! Свобода по ликвидации колбасы». – «Кому-то захотелось жвачки. “Мальборо” курить». – «Давно пора! Страна на грани краха!» – «Иудушка Горбачев! Хотел продать Родину за доллары». – «Кровушка потечет...» – «А без крови у нас нельзя...» – «Чтобы спасти страну... партию... нужны джинсы. Красивое женское белье и колбаса, а не танки». – «Хорошей жизни захотели? Хрен вам! Забудьте!» (*Молчит.*)

Одним словом, народ ждал... как и мы... В партбиблиотеке детективов к концу дня уже не было, все разобрали. (*Смеется.*) Ленина бы нам всем читать, а не детективы. Ленина и Маркса. наших апостолов.

Запомнила пресс-конференцию ГКЧП... У Янаева дрожали руки. Стоял и оправдывался: «Горбачев заслуживает всяческого уважения... он – мой друг...» Глаза бегают... испуганные глаза... У меня упало сердце. Не те это люди, которые бы могли... которых ждали... Пигмеи... обыкновенные партаппаратчики... Спасать страну! Спасать коммунизм! Некому спасать... На экране: московские улицы – море людей. Море! На поездах, пригородных электричках народ рванул в Москву. Ельцин на танке. Раздает листовки... «Ельцина! Ельцина!» – скандирует толпа. Триумф! (*Теребит нервно край скатерти.*) Скатерть вот... китайская... Весь мир заполнен китайскими товарами. Китай – страна, где ГКЧП победил... А где мы? Страна третьего мира. Где те, кто кричал: «Ельцин! Ельцин!»? Они думали, что будут жить как в Америке и Германии, а живут – как в Колумбии. Мы проиграли... проиграли страну... А нас, коммунистов, в то время насчитывалось пятнадцать миллионов! Партия могла... ее предали... На пятнадцать миллионов не нашлось ни одного лидера. Ни одного! А на той стороне лидер был. Был – Ельцин! Бездарно все проиграли! Полстраны ждало, что мы победим. Одной страны уже не было. Уже было – две.

Те, кто называл себя коммунистами, вдруг стали признаваться, что они ненавидели коммунизм с пеленок. Сдавали свои партбилеты... Одни приносили и оставляли партбилеты молча, другие хлопали дверью. Подбрасывали ночью к зданию райкома... Как воры. Про-

ститесь с коммунизмом честно. Нет – тайком. Утром дворники ходили и собирали по двору – партбилеты, комсомольские удостоверения – и приносили нам. Приносили в пакетах, в больших целлофановых мешках... Что с этим делать? Куда сдавать? Команды нет. Сверху – никаких сигналов. Мертвая тишина. (*Задумалась.*) Такое это было время... люди начали менять все... Абсолютно все. Вчистую. Одни уезжали – меняли родину. Другие меняли убеждения и принципы. Третьи меняли вещи в доме, вещи меняли повально. Старое советское выбрасывали, покупали все импортное... «Челноки» тут же всего навезли: чайники, телефоны, мебель... холодильники... Откуда-то всего появилось навалом. «У меня стиральная машина “Бош”». – «А я купил телевизор “Сименс”». В каждом разговоре звучало: «Панасоник», «Сони»... «Филипс»... Встретила соседку: «Стыдно радоваться немецкой кофемолке... А я счастлива!» Она же только... вот только... ночь стояла в очереди за томиком Ахматовой, теперь с ума сходит от кофемолки. От какой-то ерунды... И с партбилетом расставались – как с ненужной вещью. Трудно было поверить... Но за несколько дней все поменялось. Царская Россия, как читаешь в мемуарах, слиняла за три дня, и коммунизм тоже. За пару дней. В голове не укладывалось... Находились, правда, и такие, кто прятал свои красные книжечки, приберегал на всякий случай. Недавно в одной семье мне достали с антресолей бюст Ленина. Хранят... вдруг еще пригодится... Вернутся коммунисты, они первые нацепят алый бант. (*Молчит долго.*) У меня на столе лежали сотни заявлений о выходе из партии... Все это в скором времени сгребли и вынесли как мусор. Сгнило на свалке. (*Что-то ищет в папках на столе.*) Я пару листочков сохранила... Когда-нибудь их попросят у меня для музея. Будут искать... (*Зачитывает.*)

«...Я была преданной комсомолкой... с искренним сердцем вступила в партию. Теперь хочу сказать, что партия больше не имеет никакой власти надо мной...»

«...Время ввело меня в заблуждение... Я верила в Великую Октябрьскую революцию. Прочитав Солженицына, я поняла, что “прекрасные идеалы коммунизма” все в крови. Это обман...»

«...Меня заставил вступить в партию страх... Ленинские большевики расстреляли моего дедушку, а сталинские коммунисты уничтожили в мордовских лагерях моих родителей...»

«...От своего имени и от имени моего покойного мужа заявляю о своем выходе из партии...»

Это надо было пережить... не сдохнуть от ужаса... В райкоме стояли очереди, как в магазине. Очереди желающих вернуть партбилеты. Ко мне пробилась простая женщина. Доярка. Она плакала: «Что мне делать? Как поступить? В газетах пишут, что партбилеты надо выбрасывать». Оправдывалась она тем, что у нее трое детей, она за них боится. Кто-то распускал слухи, что коммунистов будут судить. Высылать. Уже ремонтируют в Сибири старые бараки... в милицию поступили наручники... кто-то видел, как их сгружали из грузовиков, крытых брезентом. Жуткие вещи, да! Но я запомнила и настоящих коммунистов. Преданных идее. Молодого учителя... Незадолго до ГКЧП его приняли в партию, но билет не успели вручить, он просил: «Вас скоро опечатают. Выпишите мне сейчас партбилет, а то я его никогда не получу». В этот момент люди особенно ярко проявлялись. Пришел фронтовик... Весь в боевых орденах. Иконостас на груди! Вернул он партбилет, который ему вручили на фронте, со словами: «Не хочу быть в одной партии с этим предателем Горбачевым!» Ярко... ярко... люди показывали себя. И чужие, и знакомые. И даже родственники. Раньше встретят: «Ах, Елена Юрьевна!», «Как ваше здоровье, Елена Юрьевна?». А тут увидят издали и переходят на другую сторону улицы, чтобы не поздороваться. Директор лучшей школы в районе... Незадолго до всех этих событий мы проводили у него в школе научную партконференцию по книгам Брежнева «Малая земля» и «Возрождение». Тогда он выступил с блестящим докладом о руководящей роли коммунистической партии в годы

Великой Отечественной войны... и лично товарища Брежнева... Я ему вручила грамоту райкома партии. Верный коммунист! Ленинец! Бог мой! Месяца не прошло... Встретил меня на улице и начал оскорблять: «Кончилось ваше время! За все ответите! Первым делом – за Сталина!». Я задыхнулась от обиды... Это он – мне! Мне? Мне, у которой отец в лагере сидел... *(Несколько минут успокаивается.)* Сталина я никогда не любила. Отец простил, а я нет. Я не простила... *(Молчит.)* Реабилитацию «политических» начали после Двадцатого съезда. После доклада Хрущева... А это... А это уже было при Горбачеве... Меня назначили председателем районной комиссии по реабилитации жертв политических репрессий. Я знаю, что сначала предлагали другим: нашему прокурору и второму секретарю райком партии. Отказались. Почему? Может, побоялись. У нас до сих пор боятся всего, что связано с КГБ. А я ни минуты не колебалась – да, я согласна. У меня отец пострадал. Чего мне бояться? Первый раз повели куда-то в подвал... Десятки тысяч папок... Одно «дело» – два листка, а другое – том. Как в тридцать седьмом году был план... разверстка... по «выявлению и выкорчевке врагов народа», так в восьмидесятые годы по районам и областям спустили цифры по реабилитации. План надо было выполнить и перевыполнить. Стиль сталинский: совещания, накачки, выговоры. Давай-давай... *(Качает головой.)* Ночами сидела и читала, переворачивала тома. Честно... честно скажу... Волосы становились дыбом... Брат писал на брата, сосед на соседа... Поругались из-за огорода, из-за комнаты в коммуналке. Спел на свадьбе частушку: «Спасибо Сталину-грузину, что обул нас всех в резину». Этого было достаточно. С одной стороны, система кромсала человека, а с другой – люди не жалели друг друга. Человек был готов...

Обычная коммуналка... Живут вместе пять семей – двадцать семь человек. Одна кухня и один сортир. Две соседки дружат: у одной девочке пять лет, а вторая – одинокая. В коммуналках, обычное дело, следили друг за другом. Подслушивали. Те, у кого комната десять метров, завидовали тем, у кого она двадцать пять метров. Жизнь... она такая... И вот ночью приезжает «черный ворон»... Женщину, у которой маленькая девочка, арестовывают. Перед тем, как ее увели, она успела крикнуть подруге: «Если не вернусь, возьми мою дочку к себе. Не отдавай в детдом». И та забрала ребенка. Переписали ей вторую комнату... Девочка стала звать ее мамой... «мамой Аней»... Прошло семнадцать лет... Через семнадцать лет вернулась настоящая мама. Она целовала руки и ноги своей подруге. Сказки обычно кончаются на этом месте, а в жизни была другая концовка. Без хеппи-энда. При Горбачеве, когда открыли архивы, у бывшей лагерницы спросили: «Вы хотите посмотреть свое дело?» – «Хочу». Взяла она свою папку... открыла... Сверху лежал донос... знакомый почерк... Соседка... «мама Аня»... написала донос... Вы что-нибудь понимаете? Я – нет. И та женщина – она тоже не смогла понять. Пришла домой и повесилась. *(Молчит.)* Я – атеистка. У меня к Богу много вопросов... Я помню... Я вспоминаю папины слова: «Лагерь пережить можно, а людей нет». Еще он говорил: «Умри ты сегодня, а я завтра, – эти слова я не в лагере первый раз услышал, а от нашего соседа. От Карпуши...». Карпуша всю жизнь ругался с родителями из-за наших кур, которые ходили по его грядкам. Бегал под нашими окнами с охотничьим ружьем... *(Молчит.)*

Двадцать третьего августа... Арестовали членов ГКЧП. Застрелился министр внутренних дел Пуго... перед этим он застрелил свою жену... Люди радовались: «Пуго застрелился!». Повесился в своем кремлевском кабинете маршал Ахромеев. Еще было несколько странных смертей... Управляющий делами ЦК Николай Кручина выпал из окна пятого этажа... Самоубийства или убийства? Гадают до сих пор... *(Молчит.)* Как жить? Как выйти на улицу? Вот просто выйти на улицу и кого-нибудь встретить. Я тогда... Уже несколько лет я жила одна. Дочь вышла замуж за офицера, уехала во Владивосток. Муж умер от рака. Вечером возвращалась в пустую квартиру. Я не слабый человек... Но мысли всякие... страшные... они появлялись... Честно скажу... Были, да... *(Молчит.)* Еще какое-то время мы

ходили на работу в райком. Закрывались там в своих кабинетах. Смотрели новости по телевизору. Ждали. На что-то надеялись. Где наша партия? Наша непобедимая ленинская партия! Мир рухнул... Звонок из одного колхоза: мужики с косами и вилами, с охотничьими ружьями – у кого что было, собрались возле конторы защищать советскую власть. «Первый» приказал: «Отправьте людей по домам». Испугались... мы все испугались... А люди были настроены решительно. Я несколько таких фактов знаю. А мы испугались...

И вот... этот день... Позвонили из райисполкома: «Мы обязаны опечатать ваши кабинеты. У вас два часа, чтобы собрать свои вещи». *(Не может от волнения говорить.)* Два часа... два... Кабинеты опечатывала специальная комиссия... Демократы! Какой-то слесарь, молодой журналист, мать пятерых детей... Я ее уже знала по митингам. По письмам в райком... в нашу газету... Жила она с большой семьей в бараке. Везде выступала и требовала квартиру. Проклинала коммунистов. Я запомнила ее лицо... Она в этот момент торжествовала... Когда они пришли к «первому», он запустил в них стулом. У меня в кабинете одна из членов комиссии подошла к окну и демонстративно разорвала шторы. Чтобы я домой ее не забрала, что ли? Бог мой! Заставили открыть сумочку... Через несколько лет я встретила на улице эту мать пятерых детей. Даже имя ее сейчас вспомнила – Галина Авдей. Я ее спросила: «Получили вы квартиру?». Она погрозила кулаком в сторону здания областной администрации: «И эти подлецы меня обманули». Дальше... Дальше – что? На выходе из здания райкома нас ждала толпа: «Коммунистов – под суд! Теперь их – в Сибирь!», «Взять бы сейчас пулеметы и пройтись по окнам». Оборачиваюсь – за спиной у меня два подвыпивших мужика – это они... про пулемет... Отвечаю: «Только учтите, я буду отстреливаться». Рядом стоял милиционер и делал вид, что он ничего не слышит. Знакомый милиционер.

Все время было чувство... как будто слышу за спиной: у-у-у... Не я одна так жила... В школе к дочке нашего инструктора подошли две девочки из ее класса: «Мы с тобой дружить не будем. Твой папа в райкоме партии работал». – «Мой папа хороший». – «Хороший папа не мог там работать. Мы вчера на митинге были...» Пятый класс... дети... Уже они – гавроши, готовы подносить патроны. Инфаркт у «первого». Он умер в машине «скорой помощи», до больницы не довезли. Я думала, что, как раньше, будет много венков, оркестр, а тут – никого и ничего. Шли за гробом несколько человек... группа товарищей... Его жена заказала, чтобы на памятнике выбили серп и молот и первые строчки советского гимна: «Союз нерушимый республик свободных...». Над ней смеялись. Я все время слышала этот шепот: у-у-у... Думала, что сойду с ума... Незнакомая женщина в магазине: «Ну что, коммуняки, просрала страну!» – мне в лицо.

Что спасало? Спасали звонки... Звонок от подруги: «Если сошлют в Сибирь, ты не бойся. Там красиво». *(Смеется.)* Была она там в турпоездке. Ей понравилось. Звонок от двоюродной сестры из Киева: «Приезжай к нам. Я дам тебе ключи. Сможешь спрятаться у нас на даче. Тебя там никто не найдет». – «Я – не преступница. Не буду прятаться». Родители звонили каждый день: «Что ты делаешь?» – «Консервирую огурцы». Целыми днями банки кипятила. Закручивала. Не читала газеты и не смотрела телевизор. Читала детективы, одну книжку заканчивала и тут же начинала другую. Телевизор внушал ужас. Газеты тоже.

Долго не могла устроиться на работу... Все считали, что мы разделили деньги партии, и у каждого из нас – кусок нефтяной трубы или, на худой конец, маленькая автозаправка. Нет у меня ни автозаправки, ни магазинчика, ни киоска. Их теперь «комками» называют. «Комки», «челноки»... Великий русский язык не узнать: ваучер, валютный коридор... транш МВФ... На иностранном языке разговариваем. Я вернулась в школу. Перечитываю с учениками любимого Толстого и Чехова. Как у других? Судьбы у моих товарищей сложились по-разному... Один наш инструктор покончил самоубийством... У завпарткабинетом было нервное расстройство, лежал долго в больнице. Кто-то стал бизнесменом... Второй секретарь – директор кинотеатра. А один инструктор райкома – священник. Я с ним встречалась.

Разговаривала. Живет человек вторую жизнь. Позавидовала ему. Вспомнилось... Я была в художественной галерее... На одной картине, помню, много-много света – и женщина стоит на мосту. Смотрит куда-то вдаль... много-много света... Не хотелось от этой картины уходить. Уйду – и опять вернусь, меня к ней тянет. У меня тоже могла быть другая жизнь. Не знаю только – какая?

Анна Ильинична:

– Я проснулась от гула... Открываю окно... По Москве! По столице ползут танки и бэтээры. Радио! Скорее включить радио! По радио передавали обращение к советскому народу: «Над Родиной нависла смертельная опасность... Страна погружается в пучину насилия и беззакония... Очистим улицы от преступных элементов... Положим конец смутному времени...». Было непонятно – то ли Горбачев ушел в отставку по состоянию здоровья, то ли его арестовали. Звоню мужу, он на даче. «В стране государственный переворот. Власть в руках...» – «Дура! Положи трубку, тебя сейчас заберут». Включаю телевизор. По всем каналам – балет «Лебединое озеро». А у меня перед глазами другие кадры, все мы дети советской пропаганды: Сантьяго в Чили... горит президентский дворец... Голос Сальвадора Альенде... Начались телефонные звонки: в городе полно военной техники, танки стоят на Пушкинской площади, на Театральной... У нас в это время гостила свекровь, она страшно испугалась: «Не выходи на улицу. Я жила при диктатуре, я знаю, что это такое». А я не хочу жить при диктатуре!

После обеда муж вернулся с дачи. Сидели на кухне. Много курили. Боялись прослушки телефона... положили на телефон подушку... *(Смеется.)* Начитались диссидентской литературы. Наслушались. Теперь вот оно пригодилось... Дали немного подышать, а сейчас все захлопнется. Загонят назад в клетку, вмажут нас снова в асфальт... будем, как бабочки в цементе... Вспоминали недавние события на площади Тяньаньмэнь, как саперными лопатками в Тбилиси разгоняли демонстрацию. Штурм телецентра в Вильнюсе... «Пока мы читали Шаламова и Платонова, – сказал муж, – началась гражданская война. Раньше спорили на кухнях, ходили на митинги, а теперь будем стрелять друг в друга». Настроение было такое... что-то катастрофическое близко... Радио ни на минуту не выключали, крутили-крутили – везде передавали музыку, классическую музыку. И вдруг – чудо! Заработало «Радио России»: «отстранен от власти законно избранный Президент... Совершена циничная попытка переворота...». Так мы узнали, что тысячи людей уже вышли на улицу. Горбачев в опасности... Идти или не идти – это даже не обсуждалось. Идти! Свекровь сначала меня отговаривала: подумай, мол, о ребенке, ты сумасшедшая, куда ты попрешься? Я молчала. Ну она видит, что мы собираемся: «Раз вы такие идиоты, то возьмите с собой хотя бы содовый раствор, будете смачивать марлю и прикладывать к лицу в случае газовой атаки». Я приготовила трехлитровую банку этого раствора, порвала одну простыню на куски. Еще мы взяли с собой все, что у нас было из еды, я выгрела из буфета все консервы.

Много людей, как и мы, шли к метро... А кто-то стоял в очереди за мороженым... Покупал цветы. Проходим мимо веселой компании... Ловлю слова: «Если завтра из-за танков не попаду на концерт, то я им этого никогда не прощу». Бежит навстречу мужчина в трусах и с авоськой, а в авоське – пустые бутылки. Поравнялся с нами: «Улицу Строительную – не подскажете?». Я показала ему, где надо свернуть направо, и дальше – прямо. Он: мол, спасибо. Ему все до фени, лишь бы бутылки сдать. А что, в 1917 году было иначе? Одни стреляли, а другие на балах танцевали. Ленин на броневике...

Елена Юрьевна:

– Фарс! Разыграли фарс! Победил бы ГКЧП, сегодня жили бы в другой стране. Если бы Горбачев не струсил... Не выдавали бы зарплату шинами и куклами. Шампунем. Выпускает завод гвозди – гвоздями. Мыло – мылом. Всем говорю: посмотрите на китайцев... У них свой

путь. Ни от кого не зависят, никому не подражают. И весь мир сегодня боится китайцев... (Опять ко мне с вопросом.) Я уверена – мои слова вы вычеркнете.

Я обещаю – рассказа будет два. Хочу остаться хладнокровным историком, а не историком с зажженным факелом. Пусть судьей будет время. Время справедливо, но дальнейшее время, а не близкое. Время, которое уже будет без нас. Без наших пристрастий.

Анна Ильинична:

– Можно над этими днями посмеяться, назвать опереттой. Стеб в моде. А тогда все происходило всерьез. Честно. Все было настоящее, и все мы были настоящими. Безоружные люди стояли перед танками и готовы были умереть. Я сидела на этих баррикадах и видела этих людей, они приехали со всей страны. Какие-то старушки московские, божьи одуванчики, котлетки приносили, теплую картошку, завернутую в полотенце. Подкармливали всех... И танкистов тоже: «Ешьте, мальчики. Только не стреляйте. Неужели будете?». Солдаты ничего не понимали... Когда они открыли люки и вылезли из танков, они обалдели. На улицах – вся Москва! Девчонки взбирались к ним на броню, обнимали, целовали. Угощали булочками. Солдатские матери, у которых сыновья погибли в Афганистане, плакали: «Наши дети погибли на чужой земле, а вы что – приехали на своей земле умирать?». Какой-то майор... Когда его окружили женщины, у него сдали нервы, он кричал: «Да я сам отец. Я не буду стрелять! Клянусь вам – не буду! Против народа – не пойдем!». Там была масса смешных вещей и трогательных до слез. Вдруг крики в толпе: «Есть ли у кого-нибудь валидол, человеку здесь плохо». Тут же нашелся валидол. Стояла женщина с ребенком в коляске (видела бы это моя свекровь!), она достала пеленку, чтобы нарисовать на ней красный крест. Чем? «У кого есть помада?» Ей стали бросать дешевую помаду и «ланкомовскую»... «Кристиан Диор»... «Шанель»... Никто это не снял, не запечатлел в подробностях. Жаль. Очень. Стройность события, его красавица... они появляются потом, вот эти знамена и музыка... и все отливаешь в бронзу... А в жизни все раздроблено, грязно и лилово: люди сидели всю ночь у костра прямо на земле. На газетах и листовках. Голодные, злые. Матерились и выпивали, но пьяных не было. Кто-то привозил колбасу, сыр, хлеб. Кофе. Говорили, что это кооператоры... бизнесмены... Один раз я даже видела несколько банок красной икры. Икра исчезла у кого-то в кармане. Сигареты раздавали тоже бесплатно. Рядом со мной сидел парень в зековских наколках. Тигр! Рокеры, панки, студенты с гитарами. И профессора. Все были вместе. Народ! Это был мой народ! Я встретила там своих друзей из института, которых не видела лет так пятнадцать, если не больше. Кто-то жил в Вологде... кто-то в Ярославле... Но они сели в поезд и приехали в Москву! Защищать что-то важное для всех нас. Утром мы забрали их к себе домой. Помылись, позавтракали и вернулись назад. На выходе из метро каждому уже давали кусок арматуры или камень. «Бульжник – оружие пролетариата», – смеялись мы. Строили баррикады. Переворачивали троллейбусы, пилили деревья.

Уже стояла трибуна. Над трибуной повесили плакаты: «Хунте – нет!», «Народ – не грязь под ногами». Выступавшие говорили в мегафон. Начинали они свои выступления нормальными словами – и простые люди, и известные политики. Через пару минут нормальных слов уже никому не хватало, и тогда начинали крыть матом. «Да мы этих мудаков...» И мат! Хороший русский мат! «Кончилось их время...» И – великий, могучий русский язык! Мат как боевой клич. И это было понятно всем. Соответствовало моменту. Минуты такого подъема! Такой силы! Старых слов не хватало, а новые еще не родились... Все время ждали штурма. Тишина, особенно ночью, стояла невероятная. Все жутко напряжены. Тысячи людей – и тишина. Помню запах бензина, разливаемого в бутылки. Это был запах войны...

Там стояли хорошие! Там стояли отличные люди! Сейчас много про водку пишут и наркотики. Мол, какая это революция? Пьяные и наркоманы пошли на баррикады. Вранье! Все честно пришли умирать. Мы знали, что эта машина перемальвала людей в песок семь-

десять лет... никто не думал, что она так легко сломается... Без большой крови... Слухи: мост заминировали, скоро пустят газ. Кто-то из студентов медицинского института объясняет, как вести себя при газовой атаке. Обстановка менялась каждые полчаса. Страшная новость: трое ребят погибли под танком... Но никто не дрогнул, не ушел с площади. Так важно это для твоей жизни, как бы потом все ни сложилось. Сколько бы ни было разочарований. Но это мы пережили... Мы такие – были! (*Плачет.*) Под утро над площадью: «Ур-ра! Ура!». Снова мат... слезы... крики... По цепочке передали: армия перешла на сторону народа, спецназовцы из отряда «Альфа» отказались участвовать в штурме. Танки уходят из столицы... А когда объявили, что путчистов арестовали, люди бросились обнимать друг друга – это было такое счастье! Наша взяла! Мы отстояли свою свободу. Вместе мы это смогли! Значит, можем! Грязные, промокшие под дождем, долго еще не хотели расходиться по домам. Записывали адреса друг друга. Клялись помнить. Дружить. Милиционеры в метро были очень вежливыми, никогда ни до того, ни после того, я не видела таких вежливых милиционеров.

Мы победили... Горбачев вернулся из Фороса в совершенно другую страну. Люди ходили по городу и улыбались друг другу. Мы победили! Долго меня не покидало это чувство... Я ходила и вспоминала... перед глазами сцены... Как кто-то крикнул: «Танки! Танки идут!». Все взялись за руки и встали в оцепление. Часа два или три ночи. Мужчина рядом со мной достал пачку печенья: «Хотите печенья?» – и все берут у него это печенье. Почему-то хохочем. Хочется печенья... хочется жить! Но я... до сих пор... Я счастлива, что там была. С мужем, с друзьями. Тогда все были еще очень искренние. Жаль нас тех... что мы уже не такие... Особенно раньше было жаль.

Прощаясь, спрашиваю у них: как им удалось сохранить свою, как я узнала, еще университетскую дружбу?

– У нас уговор – не затрагивать эти темы. Не делать друг другу больно. А когда-то мы спорили, рвали отношения. Годами не разговаривали друг с другом. Но это прошло.

– Теперь говорим только о детях и внуках. Что у кого на даче растет.

– Соберутся наши друзья... Тоже ни слова о политике. Каждый своим путем пришел к этому. Живем вместе: господа и товарищи. «Белые» и «красные». Но никто уже не хочет стрелять. Хватит крови.

О братьях и сестрах, палачах и жертвах... и электорате

Александр Порфирьевич Шарпило – пенсионер, 63 года

Из рассказа соседки Марины Тихоновны Исайчик

– Чужие люди, что вам надо? Ходят и ходят. Ну... смерть без причины не бывает, причина всегда есть. Смерть найдет причину.

Горел человек на своей грядке с огурцами... Облил голову ацетоном и поджег спичкой. Сижу, телевизор включила, слышу – крики. Старый голос... знакомый... Сашкин, вроде, голос, и какой-то молодой. Шел мимо студент, техникум у нас тут рядом, и видит – человек горит. Ну что ты скажешь! Прибежал, стал тушить. Сам обгорел. Когда я прилетела, Сашка уже на земле лежал, стонал... голова желтая... Чужие люди, ну что вам... Что вам чужая беда?

Всем на смерть посмотреть охота. О-ой! В общем... в общем... В нашей деревне, где я в девках у родителей жила, был старик, он любил приходить и смотреть, как умирают. Бабы стыдили, гнали его из хаты: «Уходи, черт!», а он сидит. Жил долго. Может, и вправду черт! Что смотреть? Куда... в какую сторону? После смерти ничего нет. Умер – и все, закопали. А живой, пусть и несчастливый, и по ветрику походит, и по садику. А когда дух вышел,

нет человека, есть земля. Дух – это дух, а все остальное – земля. Земля – и все. Один в колыбели умирает, другой до седины живет. Счастливые люди не хотят умирать... и те... те, кого любят, тоже не хотят. Отпрашиваются. А где они, счастливые люди? По радио когда-то говорили, что после войны все счастливые будем, и Хрущев, помню, обещал... что скоро коммунизм наступит. Горбачев клялся, так красиво говорил... Складно. Теперь Ельцин клянется, на рельсы грозился лечь... Ждала и ждала я хорошей жизни. Маленькая ждала... и когда подросла... Теперь уже старая... Если короче, все обманули, жизнь еще хуже стала. Подожди-потерпи, да подожди-потерпи. Подожди-потерпи... Муж помер. Вышел на улицу, упал и все – отказало сердце. Ни метром не перемерить, ни на весах не перевесить, сколько мы всего пережили. А вот – живу. Живу. Дети разъехались: сын – в Новосибирске, а дочь в Риге с семьей осталась, теперь, считай, за границей. На чужбине. Там уже по-русски не говорят.

Иконка в углу у меня, и песика держу, чтобы было с кем поговорить. Одна головешка и в ночи не горит, а я стараюсь. Во-о-о... Хорошо, что Бог дал человеку и собаку, и кошку... и дерево, и птицу... Дал для того Он это все, чтобы человек радовался и жизнь не показалась ему длинной. Не надокучила. А мне одно, что не надоело – глядеть, как пшеница желтеет. Наголодалась я за свою жизнь так, что больше всего люблю, как хлеба спеют, колосья колышутся. Мне это – как вам картина в музее... И сейчас не гонюсь за белой булкой, а вкуснее всего черный посоленный хлеб со сладким чаем. Подожди-потерпи... да подожди-потерпи... От всякой боли одно у нас средство – терпение. Так и жизнь прошла. Вот и Сашка... наш Порфирьич... Терпел, терпел, да не вытерпел. Притомился человек. Это телу в земле лежать, а душе на ответ идти. *(Вытирает слезы.)* Во как! Тут плачем... и когда уходим, тоже плачем...

Опять люди стали в Бога верить, так как нет другой надежды. А когда-то мы в школе учили, что Ленин – бог, и Карл Маркс – бог. Зерно в храмы ссыпали, бураки свозили. Так было, пока война не началась. Началась война... Сталин церкви открыл, чтобы молитвы правили за победу русского оружия, и обратился к народу: «Братья и сестры... друзья мои...». А до того – кто мы были? Враги народа... кулаки и подкулачники... У нас в деревне все крепкие семьи раскулачили, если два коня и две коровы во дворе – это уже кулаки. В Сибирь их вывозили, бросали там в голый таежный лес... Бабы удавливали своих детей, чтобы те не мучились. Ой, горя... слез человеческих... было больше, чем на земле воды. А тут Сталин попросил: «Братья и сестры...». Поверили ему. Простили. И Гитлера победили! А Гитлер в броне к нам пришел... в железе... Все равно победили! А теперь – кто я? Мы? Электорат... Я телевизор смотрю. Новости не пропускаю... Теперь мы – электорат. Наше дело – пойти проголосовать правильно – и баста. Я раз болела, не пошла на участок, так они сами ко мне приехали на машине. С красным ящичком. В этот день про нас вспоминают... Та-а-ак...

Как живем, так и умираем... Я и в церковь хожу, и крестик ношу, а счастья как не было, так и нет. Не собрала я счастья. И уже не допросишься. Скорей бы умереть... Скорей бы царствие небесное, надоело терпеть. Так и Сашка... Лежит теперь на кладбище... отдыхает... *(Перекрестилась.)* С музыкой похоронили, со слезами. Все плакали. В этот день много плачут. Жалеют. А чего каяться? После смерти кто услышит? Осталось: две комнатки в бараке, одна грядка, красные грамоты и медаль «Победитель социалистического соревнования». У меня такая же медалька в шкафу лежит. И стахановкой была, и депутатом. Покушать не всегда хватало, а красную грамоту дадут. Сфотографируют. Нас тут три семьи в этом бараке. Поселились молодыми, думали – на год-два, а прожили всю жизнь. В бараке и умрем. Кто двадцать, кто тридцать лет... стояли в очереди на квартиру, ждали... Теперь объявился Гайдар и смеется: идите – покупайте. За какие шиши? Деньги наши пропали... одна реформа, вторая... обобрали нас! Такую страну спустили в унитаз! У каждой семьи – две комнатки, сарайчик и грядка. Одинаковые мы. Во заработали! Разбогатели! Всю жизнь

верили, что когда-нибудь будем хорошо жить. Обман! Великий обман! А жизнь... лучше и не вспоминать... Терпели, работали и страдали. А теперь уже не живем, а дни провожаем.

Мы с Сашкой из одной деревни... Тут... под Брестом... Бывало сядем с ним вечером на лавочке и вспоминаем. А про что еще говорить? Хороший он был человек. Не пил, не пьяница... не-е-е... хотя один жил. Что делать одинокому мужчине? Выпил – поспал... выпил... Хожу по двору. Топчусь. Хожу и думаю: земная жизнь – не всему конец. Смерть – душе простор... Где он там? Напоследок о соседях подумал. Не забыл. Барак старый, сразу после войны построили, дерево высохло и, как бумага, загорелось бы, запылало. В один момент! В секунду! Сгорели бы до травы... до песка... Написал записку детям: «Воспитывайте внуков. Прощайте» – и положил на видное место. Пошел в огород... на свою грядку...

Ой-ой! В общем... в общем... Приехала «скорая», на носилки его кладут, а он сгоряча встает, хочет сам идти. «Ты что, Сашка, сотворил?» – провожала я его до самой машины. – «Устал жить. Сыну позвони, пускай в больницу приедет». Он еще со мной разговаривал... Пиджак обгоревший, а плечо белое, чистое. Пять тысяч рублей оставил... Когда-то большие деньги! Снял со сберкнижки и на стол положил рядом с запиской. Всю жизнь собирал. До перестройки за такие деньги можно было купить машину «Волгу». Самую дорогую! А сейчас? Хватило на новые ботинки и венок. Во как! Лежал на носилках и чернел... Чернел на моих глазах... Забрали врачи и того парня, который его спасал, хватал с веревки мокрые мои простыни (я днем постирала) и бросал на него. Чужой парень... студент... проходил мимо и видит – человек горит! Сидит на грядке, сгорбился и горит. Коптит. Молчит! Так потом он нам и рассказывал: «Молчит и горит». Живой человек... Утром сын ко мне постучался в дверь: «Папа умер». В гробу лежал... голова вся сожженная и руки... Черный... черный... Руки у него были золотые! Все умел. И за столяра, и за каменщика. Тут у каждого о нем память осталась – у кого стол, у кого книжные полки... этажерочки... До ночи, бывало, стоит во дворе и строгаёт, как сейчас вижу – стоит и строгаёт. Любил дерево. Узнавал дерево по запаху, по стружке. Каждое дерево, говорил, по-своему пахнет, самый крепкий запах у сосны: «Сосна – как хороший чай пахнет, а у клена веселый запах». До последнего дня работал. Справедливая поговорка: пока цепь в руках, так и хлеб в зубах. На пенсию никак сейчас не прожить. Я сама в няньки нанялась, чужих детей нянчу. Копейку дадут, так и сахарку куплю, и докторской колбаски. А что наша пенсия? Купишь хлеб и молоко, а тапочки на лето уже не купишь. Не хватит. Старики раньше сидели на лавочке во дворе беззаботно. Судачили. А теперь нет... Кто пустые бутылки по городу собирает, кто возле церкви стоит... у людей просит... Кто семечками или сигаретами на автобусной остановке торгует. Талонами на водку. У нас затоптали в винном отделе человека. Насмерть. Водка теперь дороже этого... как его? Ну этого – американского доллара. За водку у нас все купишь. И сантехник придет, и электрик. А так – не дозваться. В общем... в общем... Жизнь прошла... Одно что время ни за какие деньги не купишь. Плачь перед Богом или не плачь, не докупишься. Так задумано.

А Сашка сам не захотел жить. Отказался. Сам вернул Богу билетик... Ой, Бо-о-же! Ездит и ездит теперь милиция. Расспрашивают... (*Прислушалась.*) Во-о-о... Поезд гудит... Это московский – Брест – Москва. Мне и часов не надо. Встаю, когда варшавский крикнет – в шесть утра. А там минский, первый московский... Утром и ночью они разными голосами кричат. Бывает, всю ночь слушаю. Под старость сон отлетает... С кем мне теперь беседовать? Теперь одна на лавочке сижу... Я его утешала: «Сашка, найди хорошую женщину. Женись». – «Лизка вернется. Буду ждать». Я семь лет ее не видела, как она от него ушла. С офицером каким-то связалась. Молодая... на много лет его моложе была. Любил он ее сильно. Билась о гроб головой: «Это я Сашке жизнь поломала». Ой-ой! В общем... Любовь – не волос, быстро не вырвешь. И крестом любовь не свяжешь. Чего потом плакать? Кто тебя услышит из-под земли... (*Молчит.*) Ой, Бо-о-же! До сорока лет можно все

делать, и грешить можно. А после сорока надо раскаиваться. Тогда Бог простит. *(Смеется.)* Все пишешь? Ну пиши, пиши. Я еще расскажу... У меня горя не один мешок... *(Подняла голову вверх.)* В-о-о... Ласточки прилетели... Тепло будет. Правду сказать, ко мне один раз уже приходил корреспондент... Про войну расспрашивал... Я последнее со двора вынесу, только б войны не было. Страшнее войны ничего нету! Под немецкими пулеметами стоим, а наши хаты трещат от огня. Горят и садочки. Ой-ой! С Сашкой мы войну каждый день вспоминали... У него отец пропал без вести, а брат в партизанах погиб. Согнали в Брест пленных – тучи людей! Их гнали по дорогам, как коней, держали в загороди, умирали они и валялись, как мусор. Все лето Сашка ходил и искал там с мамой своего отца... Начнет мне рассказывать... и не может остановиться... Искали они среди мертвых, искали среди живых. Никто уже смерти не боялся, смерть обычная стала вещь. До войны пели: «От тайги и до британских морей / Красная Армия всех сильнее...». Гордо мы пели! Весной лед растаял... двинулся... Вся река за нашей деревней была забита трупами: голые, почерневшие, только ремни на поясах блестят. Ремни с красными звездочками. Нет моря без воды, а войны – без крови. Бог дает жизнь, а в войну ее забирает всякий... *(Плачет.)* Хожу-хожу по двору. Топчусь. И покажется, что Сашка за спиной стоит. И голос его услышу. Оглянусь – никого. В общем... в общем... Что ты, Сашка, сотворил? Такую муку выбрал! Ну, может, одно: на земле горел, так на небе не будет. Отмучился. Где-то же хранятся все наши слезы... Как там его встретят? Калеки по земле ползают, парализованные лежат, немые живут. Не нам решать... не наша воля... *(Крестится.)*

Вовек я войну не забуду... Немцы вошли в деревню... Молодые, веселые. И такой был гул! Они въехали на больших-больших машинах, и мотоциклы у них были на трех колесах. А я до этого ни разу не видела мотоцикла. Машины в колхозе были полуторки, с деревянными бортами, низенькие машины. А эти! Как дом! Я увидела их коней, не конь, а гора. На школе они написали краской: «Красная армия вас бросила!». Начался немецкий порядок... У нас жило много евреев: Аврам, Янкель, Мордух... Их собрали и повезли в местечко. Они были с подушками, одеялами, а их сразу всех побили. Собрали со всего района и постреляли в один день. Свалили в яму... Тысячи... тысячи людей... Рассказывали, что трое суток кровь шла наверх... Земля дышала... живая была земля... На том месте сейчас парк. Зона отдыха. Из-за гроба нет голоса. Никто не крикнет... Та-а-ак... Я думаю так... *(Плачет.)*

Не знаю... как оно было? Сами они прибились к ней, или она их в лесу нашла? Соседка наша прятала в сарае двух еврейских хлопчиков, красивых-красивых. Ангелочки! Всех расстреляли, а они спрятались. Убежали. Одному – восемь, а другому – десять лет. И наша мама им молоко носила... «Дети, ни-ни... – просила она нас. – Никому ни слова». А в той семье был старей-старей дед, еще ту войну с немцами помнил... Первую... Он их кормит и плачет: «Ой, детки, словят вас и будут мучить. Смог бы, так лучше бы я сам вас убил». Такие слова... А черт все слышит... *(Крестится.)* Приехали три немца на черном мотоцикле с большой черной собакой. Кто-то донес... Всегда есть такие люди, у них душа черная. Живут они... как без души... и сердце у них медицинское, а не человеческое. Никого им не жалко. Хлопчики побежали в поле... в жито... Немцы натравили на них собаку... Собирали люди их потом по клочкам... по тряпочке... Нечего было хоронить, и никто не знал, под какой фамилией? Соседку немцы привязали к мотоциклу, она бежала, пока сердце не разорвалось... *(Уже и не вытирает слезы.)* В войну человек человека боялся. И своего, и чужого. Скажешь днем – птицы услышат, скажешь ночью – мыши услышат. Мама учила нас молитвам. Без Бога тебя и червяк проглотит.

На Девятое мая... в наш праздник... Выпьем с Сашкой по стаканчику... поплачем... Тяжело слезы глотать... В общем... в общем... В десять лет остался он в семье и за отца, и за брата. А мне, когда кончилась война, исполнилось шестнадцать лет. Пошла работать на цементный завод. Надо маме помогать. Таскали мешки с цементом по пятьдесят кило,

грузили на бортовую машину песок, щебенку, арматуру. А я хотела учиться... Бороновали и пахали на корове... корова ревела от такой работы... А что ели? Что ели? Желуди толкли, шишки в лесу собирали. Все равно мечтала... Всю войну мечтала: окончу школу, стану учительницей. Последний день войны... Было тепло-тепло... мы с мамой пошли в поле... Прискакал на кавалерийской лошади милиционер: «Победа! Немцы подписали капитуляцию!». Скакал по полям и всем кричал: «Победа! Победа!». Люди бежали в деревню. Кричали, плакали, матерились. Больше всего плакали. А на завтра стали думать: как дальше жить? В хатах – пусто, в сараях – ветер. Кружки, сделанные из банок консервных... банки после немецких солдат остались... Свечи из стреляных гильз. Про соль за войну забыли, ходили, и у всех кости гнулись. Немцы, когда отступали, кабана у нас забрали, последних кур половили. А перед этим партизаны ночью коровку увели... Коровку мама не отдавала, так один партизан выстрелил вверх. В крышу. Сложили в мешок они и швейную машинку, и мамины платья. Партизаны то были или бандиты? С оружием... В общем... в общем... Человек жить всегда хочет, и в войну тоже. В войну много чего узнаешь... Нет зверя хуже человека. Это человек человека убивает, а не пуля. Человек человека... Ми-и-лая ты моя!

Позвала мама гадалку... Гадалка нагадала: «Все будет хорошо». А нам нечего ей дать. Мама нашла два бурака в погребке и была рада. И гадалка рада. Поехала я поступать, как мечтала, в педучилище. Там надо было заполнить анкету... Все я написала и дошла до вопроса: были ли вы или ваши родственники в плену или под оккупацией? Я ответила – да, конечно, были. Директор училища позвал меня в кабинет: «Девочка, заведи свои документы». Был он фронтовик, без одной руки. С пустым рукавом. Так я узнала, что мы... все, кто был под оккупацией... неблагонадежные. Под подозрением. Уже никто не говорил нам «братья и сестры»... Через сорок лет только эту анкету отменили. Сорок лет! Жизнь моя кончилась, пока отменили. «А кто нас под немцами оставил?» – «Тихо, девочка, тихо...» – директор закрыл двери, чтобы никто не слышал. «Тихо... тихо...» Как ты судьбу обойдешь? Серпом воду резать... А Сашка поступал в военное училище... Написал в анкете, что семья их была под оккупацией, а отец пропал без вести. Его сразу отчислили... *(Молчит.)* Ничего, что я вам и про себя, и свою жизнь описываю? Мы все одинаково жили. Чтоб меня только не посадили за этот разговор. Есть еще советская власть или уже совсем она пропала?

За горем и добро забыла... Как молодые мы были и любились. Я на Сашкиной свадьбе гуляла... Любил он Лизку, долго ухаживал. Сох по ней! Белую фату на свадьбу из Минска привез. Внес невесту в барак на руках... Старые наши обычаи... Жених несет невесту на руках, как дитя, чтобы домовый не уследил. Не заметил. Домовой чужих не любит, прогоняет. Он же в доме хозяин, надо ему понравиться. А-а-а... *(Махнула рукой.)* Теперь уже ни во что не верят. Ни в домового, ни в коммунизм. Живут люди без всякой веры! Ну может, в любовь еще верят... «Горько! Горько!» – кричали мы у Сашки за столом. А как тогда пили? Одна бутылка на весь стол, на десять человек... Теперь на каждого бутылку ставь. Коровку надо продать, чтобы сыну или дочке свадьбу сыграть. Любил он Лизку... Но сердцем не приманишь, так и за уши не притянешь. В общем... в общем... Гуляла она, как кошка. Дети выросли, совсем от него ушла. Не оглянулась. Я ему советовала: «Сашка, найди хорошую женщину. Сопьешься». – «Стаканчик налью. Фигурное катание посмотрю и спать ложусь». Одному спать – и одеяло не греет. И в раю тошно одному. Пил, но не запивал. Не... не запивал, как другие. О! Тут у нас один сосед... он и одеколон «Гвоздика» пьет, и лосьон, и денатурат, и моющие средства... И надо же – живой! Теперь бутылка водки стоит как раньше пальто. А закуска? Полкило колбасы – половина моей пенсии. Пейте свободу! Кушайте свободу! Такую страну сдали! Державу! Без единого выстрела... Я одно не понимаю, почему у нас никто не спросил? Я всю жизнь великую страну строила. Так нам говорили. Обещали.

Я и лес валила, и шпалы на себе тягала... Ездили мы с мужем в Сибирь. На коммунистическую стройку. Помню реки: Енисей, Бирюса, Мана... Строили железную дорогу Аба-

кан – Тайшет. Везли нас туда в товарных вагонах: два яруса сколоченных нар, ни матрасов, ни белья, под голову – кулак. В полу – дырка... Для большой нужды ведро (загораживали его простыней). Встанет состав в поле, нагребем сена: наша постель! Света в вагонах не было. Но всю дорогу пели комсомольские песни! Драли горло. Семь дней ехали... Прибыли! Глухая тайга, снега – в человеческий рост. Скоро началась цинга, каждый зуб шатался. Вши. А норма – ого! Мужчины, кто охотники, ходили на медведя. Тогда у нас появлялось мясо в котлах, а то – каша и каша. Я запомнила, что медведя бьют только в глаз. Жили в бараках – ни душа, ни бани. Летом ездили в город и в фонтане мылись. *(Смеется.)* Хочешь слушать, добавлю еще...

Забыла рассказать, как я замуж вышла... Мне восемнадцать лет. Уже это я работала на кирпичном заводе. Цементный завод закрыли, и я пошла на кирпичный. Сначала была глинцицей. В то время глину копали вручную, лопатами... Мы разгружали машины и укладывали глину во дворе ровным слоем, чтобы она «дозревала». Через полгода уже катала груженые вагонетки от пресса к печи: туда – с сырыми кирпичами, а назад – с обожженными, горячими. Кирпичи мы сами доставали из печи... Сумасшедшая температура! За смену – четыре-шесть тысяч кирпичей вытянешь. До двадцати тонн. Работали одни женщины... и девочки... Были и парни, но парни, в основном, на машинах. За рулем. Стал один за мной ухаживать... Подойдет, засмеется... и положит руку мне на плечо... Один раз говорит: «Поедешь со мной?» – «Поеду». Даже не спросила – куда. Так мы завербовались в Сибирь. Коммунизм строить! *(Молчит.)* А сейчас... ох! В общем... в общем... Все зря... зря мучились... Это тяжело признать и тяжело с этим жить. Столько работали! Строили. Все руками. Время суровое! Я на кирпичном заводе работала... Один раз проспала. После войны за опоздание на работу... на десять минут опоздал – тюрьма. Спас бригадир: «Скажешь, что я тебя в карьер посылал...» Донес бы кто, то и его судили бы. После пятьдесят третьего уже за опоздание не наказывали. После смерти Сталина люди стали улыбаться, а до того осторожно жили. Без улыбки.

А... что теперь вспоминать? Гвозди на пожарище собирать. Все сгорело! Вся наша жизнь... все наше пропало... Строили... строили... Сашка на целину ездил. Там коммунизм строил! Светлое будущее. Говорил, что в палатках зимой спали, без спальных мешков. В своей одежде. Руки там себе обморозил... Но все равно гордился! «Вьется дорога длинная, / Здравствуй, земля целинная!» Был у него партбилет, красная книжечка с Лениным, дорогая ему. Депутат и стахановец, как и я. Прошла жизнь, пролетела. Следа нет, уже не найдешь... Вчера три часа стояла в очереди за молоком – и мне не хватило. Немецкую посылку в дом принесли с подарками: крупа, шоколад, мыло... Победителям – от побежденных. Мне немецкой посылки не надо. Не-е-е... не взяла. *(Перекрестилась.)* Немцы с собаками... на собаках шерсть блестит... Идут по лесу, а мы – в болоте. В воде по горло. Бабы, детишки. И коровы стоят вместе с людьми. Молчат. Коровы, как люди, молчат. Все понижают. Не хочу я немецких конфет и немецкого печенья! Где – мое? Мои труды? Мы так верили! Верили, что когда-нибудь будет хорошая жизнь. Подожди-потерпи... да, подожди-потерпи... Всю жизнь по казармам, по общежитиям, по баракам.

Ну что ты сделаешь? Так и быть... Все можно пережить, кроме смерти. Смерть не переживешь... Тридцать лет Сашка на мебельной фабрике отбарабанил. Нагорбатился. Год назад проводили его на пенсию. Часы подарили. Но без работы он не остался. Люди шли и шли с заказами. Та-а-ак... А все равно был невеселый. Скучный. Бриться перестал. Тридцать лет на одной фабрике, считай, полжизни! Там уже дом родной. С фабрики ему и гроб привезли. Богатый гроб! Весь блестел, а внутри в бархате. В таких теперь только бандитов хоронят и генералов. Все руками трогали – невидаль! Когда из барака гроб выносили, посыпали зерно на порог. Так надо, чтобы живым было легче оставаться. Наши старые обычаи... Поставили гроб во дворе... Кто-то из родственников попросил: «Люди добрые про-

стите». – «Бог простит», – отвечали все. А что прощать? Жили дружно, одной семьей. У тебя нет – я дам, у меня не стало – ты принесешь. Любили наши праздники. Строили социализм, а теперь говорят по радио, что социализм кончился. А мы... а мы остались...

Поезда стучат... стучат... Чужие люди, что вам надо? Что? Одинаковой смерти нет... Я первого сына в Сибири родила, дифтерит хоп – и задавил. Все равно живу. Вчера к Сашке на могилку сбегала, посидела с ним. Рассказала, как Лизка плакала. Билась о гроб головой. Любовь годков не считает...

Помрем... и все хорошо будет...

О шепоте и крике... и восторге

Маргарита Погребицкая – врач, 57 лет

– Мой праздник... Седьмое ноября... Большое, яркое... Самое яркое впечатление моего детства – военный парад на Красной площади...

Я у папы на плечах, а к руке у меня привязан красный шарик. В небе над колоннами громадные портреты Ленина и Сталина... Маркса... гирлянды и букеты из красных, голубых, желтых шариков. Красный цвет. Любимый, самый любимый. Цвет революции, цвет пролитой во имя ее крови... Великая Октябрьская революция! Это сейчас: военный переворот... большевистский заговор... русская катастрофа... Ленин – немецкий агент, а революцию сделали дезертиры и упившаяся матросня. Я закрываю уши, не желаю слышать! Выше моих сил... всю жизнь я прожила с верой: мы самые счастливые, родились в невиданной и прекрасной стране. Другой такой страны нет! У нас есть Красная площадь, там на Спасской башне бьют куранты, по которым сверяют время во всем мире. Так говорил мне папа... и мама, и бабушка... «День седьмого ноября – красный день календаря...» Перед этим мы долго не ложились спать, всей семьей делали цветы из жатой бумаги, вырезали из картона сердечки. Раскрашивали. Утром мама и бабушка оставались дома, готовили праздничный обед. Гости в этот день приходили обязательно. Они приносили в сетке коробку с тортом и вино... целлофановых пакетов тогда еще не было... Бабушка пекла свои знаменитые пирожки с капустой и грибами, а мама колдовала над салатом «оливье» и варила всенепременный холодец. А я – с папой!

На улице много людей, на пальто и пиджаках у всех красные ленточки. Сияют красные полотнища, играет военный духовой оркестр. Трибуна с нашими вождами... И песня: «Столица мира, Родины столица, / Сверкаешь ты созвездием Кремля, / Тобою вся вселенная гордится, / Гранитная красавица – Москва...» Хотелось все время кричать «Ура!». Из репродуктора: «Слава трудящимся Московского дважды ордена Ленина и Красного Знамени завода имени Лихачева! Ура, товарищи!» – «Ура! Ура!» – «Слава нашему героическому Ленинскому комсомолу... Коммунистической партии... Нашим славным ветеранам...» – «Ур-ра! Ура!» Красота! Восторг! Люди плакали, радость переполняла... Духовой оркестр играл марши и революционные песни: «Дан приказ ему на запад, / Ей в другую сторону. / Уходили комсомольцы / На гражданскую войну...». Я помню слова всех песен наизусть, я ничего не забыла, часто их пою. Пою сама себе. *(Тихо напевает.)* «Широка страна моя родная, / Много в ней лесов, полей и рек. / Я другой страны такой не знаю, / Где так вольно дышит человек...» Недавно нашла в шкафу старые пластинки, сняла с антресолей патефон, весь вечер прошел в воспоминаниях. Песни Дунаевского и Лебедева-Кумача – как мы их любили! *(Молчит.)* И вот я высоко-высоко. Это папа поднимает меня на руках... выше, еще выше... Наступает самый важный момент – сейчас появятся и загремят по брусчатке могучие тягачи с зачехленными ракетами, танки, и пойдет артиллерия. «Запомни это на всю жизнь!» – старается перекричать шум папа. И я знаю, что запомню! А по дороге домой мы зайдем в магазин,

и я получу свое любимое ситро «Буратино». В этот день мне разрешалось все: свистульки, леденцы-петушки на палочках...

Я любила ночную Москву... эти огни... Когда мне было уже восемнадцать лет... восемнадцать лет! – я влюбилась. Когда я поняла, что влюблена, я поехала, – ни за что не догадаетесь, куда я поехала. Я поехала на Красную площадь, первое, что я захотела – быть в эти минуты на Красной площади. Кремлевская стена, черные ели в снегу и засыпанный сугробами Александровский сад. Я смотрела на все это и знала, что буду счастлива. Обязательно буду!

А недавно мы с мужем были в Москве. И первый раз... Первый раз не пошли на Красную площадь. Не поклонились. Первый раз... *(На глазах слезы.)* Муж у меня армянин, поженились мы студентами. У него одеяло, а у меня раскладушка – так мы начинали жить. После окончания Московского мединститута получили распределение в Минск. Все мои подружки разъехались кто куда: одна – в Молдавию, другая – на Украину, кто-то в Иркутск. Тех, кто поехал в Иркутск, мы звали «декабристками». Страна одна – езжай куда хочешь! Никаких границ тогда не было, виз и таможен. Муж хотел вернуться на Родину. В Армению. «Поедем на Севан, увидишь Арарат. Попробуешь настоящий армянский лаваш», – обещал он мне. Но предложили – Минск. И мы: «Давай в Белоруссию!» – «Давай!» Это же молодость, впереди еще столько времени – кажется, его на все хватит. Приехали в Минск, и тут нам понравилось. Едешь и едешь: озера и леса, партизанские леса, болота и пущи, редкие поля среди этих лесов. Наши дети здесь выросли, у них любимые блюда – драники, белорусская мочанка. «Бульбу жарят, бульбу варят...» Армянский хаш на втором месте... Но каждый год всей семьей мы ездили в Москву. Как же! Без этого я не могла жить, я должна была походить по Москве. Подышать ее воздухом. Ждала... Всегда с нетерпением ждала эти первые минуты, когда поезд подходил к Белорусскому вокзалу, звучал марш, и сердце прыгало от слов: «Товарищи пассажиры, наш поезд прибыл в столицу нашей Родины – город-герой – Москву!». «Кипучая, могучая, никем непобедимая, / Москва моя, страна моя, ты самая любимая...» Выходишь из вагона под эту музыку.

Что... Где мы? Нас встретил чужой, незнакомый город... Ветер носил по улицам грязные обертки, куски газет, под ногами гремели банки из-под пива. На вокзале... и у метро... Везде серые ряды людей, все что-то продавали: женское белье и простыни, старую обувь и детские игрушки, сигареты можно было купить поштучно. Как в фильмах про войну. Я только там это видела. На каких-то рваных бумагах, картонных коробках прямо на земле лежали колбаса, мясо, рыба. В одном месте прикрыто рваным целлофаном, а в другом – нет. И москвичи это покупали. Торговались. Вязаные носки, салфетки. Тут гвозди, и тут же еда, одежда. Речь украинская, белорусская, молдавская... «Мы из Винницы приехали...» – «А мы – из Бреста...» Много нищих... Откуда их столько? Калеки... Как в кино... У меня одно сравнение – как в старом советском кино. Как будто я фильм смотрела...

На Старом Арбате, моем любимом Арбате я увидела торговые ряды – с матрешками, самоварами, иконами, фотографиями царя и его семьи. Портреты белогвардейских генералов – Колчака, Деникина и бюст Ленина... Матрешки всяких видов – «горбиматрешки» и «ельциноматрешки». Я не узнавала свою Москву. Что это за город? Прямо на асфальте, на каких-то кирпичках сидел старик и играл на аккордеоне. С орденами. Пел он военные песни, у ног – шапка с монетками. Песни наши любимые: «Бьется в тесной печурке огонь, / На поленьях смола, как слеза...». Захотелось подойти... но его уже окружили иностранцы... стали фотографироваться. Что-то ему кричали по-итальянски, по-французски и по-немецки. Хлопали по плечу: «Давай! Давай!». Им было весело, они были довольны. Как же! Так нас боялись... а теперь... Вот! Груда хлама... Империя – пшик! Рядом с матрешками и самоварами горой навалены красные флаги и вымпелы, партийные и комсомольские билеты. И боевые советские награды! Ордена Ленина и Красного Знамени. Медали! «За отвагу»

и «За боевые заслуги». Трогаю их... глажу... Не верю! Не верю! «За оборону Севастополя» и «За оборону Кавказа». Все настоящее. Родное. Советская военная форма: мундиры, шинели... фуражки со звездочками... А цены – в долларах... «Сколько?» – спросил муж и показал на медаль «За отвагу». – «За двадцать долларов продам. А, ладно, давай “штуку” – тысяча рублей». – «А орден Ленина?» – «Сто долларов...» – «А совесть?!» – Мой муж готов был в драку полезть. – «Ты что, чокнутый? Из какой дыры вылез? Предметы эпохи тоталитаризма». Так и сказал... Мол, это уже «железки», но иностранцам нравятся, у них нынче мода на советскую символику. Ходовой товар. Я закричала... Позвала милиционера... Я кричала: «Смотрите! Смотрите... А-а-а...». Милиционер нам подтвердил: «Предметы эпохи тоталитаризма... К ответственности привлекаем за наркотики и порнографию...». А партбилет за десять долларов – не порнография? Орден Славы... Или это – красный флаг с портретом Ленина – за доллары? Было такое чувство, что мы стоим среди каких-то декораций. Нас разыгрывают. Мы куда-то не туда приехали. Я стояла и плакала. Итальянцы рядом примеряли военные шинели и фуражки с красными звездочками. «Карашо! Карашо!» А ля рус...

Первый раз я была в мавзолее с мамой. Помню, что шел дождь, холодный, осенний дождь. Мы простояли в очереди шесть часов. Ступеньки... полумрак... венки... Шепот: «Проходите. Не задерживайтесь». Из-за слез я ничего не разглядела. Но Ленин... он показался мне светящимся... Маленькая, я маму убеждала: «Мама, я никогда не умру». – «Почему ты так думаешь? – спрашивала мама. – Все умирают. Даже Ленин умер». Даже Ленин... Я не знаю, как мне обо всем рассказать... А мне надо... я хочу. Я хотела бы говорить... говорить, но не знаю с кем. О чем? О том, как мы были потрясюще счастливы! Сейчас я в этом абсолютно убеждена. Росли нищими и наивными, но об этом не догадывались и никому не завидовали. В школу мы ходили с дешевыми пеналами и ручками за сорок копеек. Летом наденешь парусиновые тапочки, начистишь их зубным порошком – красиво! Зимой – в резиновых ботиках, мороз – подошвы жжет. Весело! Верили, что завтра будет лучше, чем сегодня, а послезавтра лучше, чем вчера. У нас было будущее. И прошлое. Все у нас было!

Любили, безгранично любили Родину – самую-самую! Первый советский автомобиль – ура! Неграмотный рабочий изобрел секрет советской нержавеющей стали – победа! А то, что этот секрет уже давно известен всему миру, мы потом узнали. А тогда: первыми полетим через полюс, научимся управлять северным сиянием... повернем вспять гигантские реки... оросим вечные пустыни... Вера! Вера! Вера! Что-то выше разума. Я просыпалась под звуки гимна вместо будильника: «Союз нерушимый республик свободных / Сплотила навеки Великая Русь...». В школе мы много пели... Я помню наши песни... *(Напевает.)* «Отцы о свободе и счастье мечтали. / За это сражались не раз. / В борьбе создавали и Ленин и Сталин / Отечество наше для нас...» Дома вспоминали... На следующий день, как меня приняли в пионеры, утром заиграл гимн, я вскочила и стояла на кровати, пока гимн не кончился. Пионерская клятва: «Я... вступая в ряды... перед лицом своих товарищей... торжественно обещаю: горячо любить свою Родину...». Дома был праздник, пахло пирогами в мою честь. С красным галстуком я не расставалась, стирала и гладила его каждое утро, чтобы ни одной складочки. И даже в институте завязывала шарфик пионерским узлом. Мой комсомольский билет... лежит он у меня и сейчас... Прибавила себе лишний год, чтобы скорее вступить в комсомол. Я любила улицу, там всегда работало радио... Радио – это была наша жизнь, это все. Откроешь окно – льется музыка, и такая музыка, что встанешь и шагаешь по квартире. Как в строю... Может, это была тюрьма, но мне было теплее в этой тюрьме. Так мы привыкли... Даже в очереди до сих пор стоим друг возле друга, вплотную, чтобы вместе. Вы заметили? *(И опять тихо напевает.)* «Сталин – наша слава боевая, / Сталин – нашей юности полет, / С песнями, борясь и побеждая, / Наш народ за Сталиным идет...»

И – да! Да! Да! Самая большая мечта – умереть! Пожертвовать собой. Отдать. Комсомольская клятва: «Готова отдать свою жизнь, если она понадобится моему народу». И это были не слова, нас так воспитали на самом деле. Если по улице шла колонна солдат, все останавливались... После Победы солдат был необыкновенный человек... Когда я вступала в партию, я написала в заявлении: «С Программой и Уставом ознакомлена и признаю. Готова отдать все силы, а если потребуется, и жизнь своей Родине». (*Смотрит на меня внимательно.*) А вы что обо мне думаете? Идиотка, да? Инфантильная... Мои некоторые знакомые... так они откровенно смеются: эмоциональный социализм, бумажные идеалы... Так я в их глазах выгляжу. Тупая! Даун! Вы – инженер человеческих душ. Хотите меня утешить? Писатель у нас больше, чем писатель. Учитель. Духовник. Это раньше, а сейчас уже не так. Много людей в церквях на службе стоит. Верующих глубоко мало, большинство страдающих. Как вот и я... с травмой... Я не по канону верю, а по сердцу. Молитв не знаю, а молюсь... Батюшка у нас – бывший офицер, все про армию проповеди читает, про атомную бомбу. Про врагов России и масонские заговоры. А я других слов хочу, совсем других слов... Не этих. А кругом только эти... Много ненависти... Нет места, где можно душой приткнуться. Включу телевизор, и там то же самое... Одни проклятия... Все отказываются от того, что было. Проклинают. Мой любимый режиссер Марк Захаров, теперь я его не так люблю и не верю ему так, как раньше... он сжег, это по телевизору показывали, свой партбилет... Принародно. Это же не театр! Это – жизнь! Моя жизнь. Разве так можно с ней? С моей жизнью... Не надо этих шоу... (*Плачет.*)

Я не успеваю... Из тех я, кто не успевает... Из поезда, который летел в социализм, все быстро пересаживаются в поезд, несущийся в капитализм. Я опаздываю... Смеются над «совком»: он и быдло, он и лох. Надо мной смеются... «Красные» – уже зверье, а «белые» – рыцари. Сердце мое и ум – против, на физиологическом уровне не принимаю. Не впускаю в себя. Не могу, не способна... Горбачева я приветствовала, хотя критиковала... он был... теперь это ясно, как и все мы, он был мечтателем. Прожектером. Можно сказать так. Но к Ельцину я была не готова... К реформам Гайдара. Деньги пропали в один день. Деньги... и наша жизнь... Все в миг обесценилось. Вместо светлого будущего стали говорить: обогащайтесь, любите деньги... Поклоняйтесь зверю сему! Весь народ был к этому не готов. Никто не мечтал о капитализме, про себя точно скажу, что я не мечтала... Мне нравился социализм. Это были уже брежневские годы... вегетарианские... Людоедских лет я не застала. Пела песни Пахмутовой: «Под крылом самолета о чем-то поет зеленое море тайги...». Готовилась крепко дружить и строить «голубые города». Мечтать! «Я знаю – город будет...», «здесь будет город-сад...». Любила Маяковского. Патриотические стихи, песни. Это так важно было тогда. Так много для нас значило. Никто не убедит меня, что жизнь дана только для того, чтобы вкусно есть и спать. А герой тот, кто купил что-то в одном месте, а продал в другом на три копейки дороже. Нам сейчас это внушают... Выходит, глупцами были все те, кто отдал свою жизнь за других. За высокие идеалы. Нет! Нет! Стою вчера в магазине в кассу... Старушка впереди считает копейки в кошельке, пересчитывает, и в конце концов покупает сто грамм самой дешевой колбасы... «собачьей»... и два яйца. А я ее знаю... она всю жизнь проработала учительницей...

Не могу я радоваться этой новой жизни! Мне не будет в ней хорошо, мне никогда не будет хорошо одной. В одиночку. А жизнь стягивает, стягивает меня на эту глину. На землю. Моим детям уже жить по этим законам. Я им не нужна, я вся смешная. Вся моя жизнь... Перебирала недавно бумаги и наткнулась на свой юношеский дневник: первая любовь, первый поцелуй и целые страницы о том, как я люблю Сталина и готова умереть, чтобы его увидеть. Записки сумасшедшей... Хотела выбросить – не смогла. Спрятала. Страх: только бы они никому на глаза не попались. Будут шутить, смеяться. Никому не показала... (*Молчит.*) Я помню много вещей, не объяснимых здравым смыслом. Редкий экземпляр, да!

Любой психотерапевт радовался бы... Правда?! Вам со мной повезло... *(И плачет, и смеется.)*

Спросите... Вы должны спросить, как это сочеталось: наше счастье и то, что за кем-то приходили ночью, кого-то забирали? Кто-то исчезал, кто-то рыдал за дверью. Я этого почему-то не помню. Не помню! А помню, как цвела весной сирень, и массовые гуляния, деревянные тротуары, нагретые солнцем. Запах солнца. Ослепительные парады физкультурников и сплетенные из живых человеческих тел и цветов имена на Красной площади: Ленин – Сталин. Я и маме задавала этот вопрос...

Что помним мы о Берии? О Лубянке? Мама молчала... Один раз вспомнила, как летом после отпуска они с папой возвращались из Крыма. Ехали по Украине. Это тридцатые годы... коллективизация... На Украине был великий голод, по-украински – голодомор. Миллионы умерли... целыми селами умирали... Хоронить было некому... Украинцев убивали за то, что они не хотели идти в колхозы. Убивали голодом. Теперь-то я это знаю... Когда-то у них была Запорожская Сечь, народ помнил свободу... Там такая земля – кол воткнешь, и вырастет дерево. А они умирали... подыхали как скот. У них все забрали, до маковки вывезли. Окружили войсками, как в концлагере. Теперь-то я знаю... Я дружу на работе с одной украинкой, она от бабушки своей слышала... Как в их селе мать сама одного ребенка зарубила топором, чтобы варить и кормить им остальных. Своего ребенка... Это все было... Детей со двора боялись выпускать. Как кошек и собак, вылавливали детей. Червяков на огородах копали и ели. Кто мог, полз в город, к поездам. Ждали, что кто-то им бросит корочку хлеба... Солдаты пинали их сапогами, били прикладами... Поезда мчались мимо, мчались на всей скорости. Проводники закрывали окна, «задраивали» шторы. И никто ни о чем ни у кого не спрашивал. Приезжали в Москву. Привозили вино, фрукты, гордились загаром и вспоминали море. *(Молчит.)* Я любила Сталина... Долго его любила. Даже тогда любила, когда стали о нем писать, что он был маленький, рыжий, с усохшей рукой. Застрелил свою жену. Развенчали. Выбросили из мавзолея. А я все равно его любила.

Я долго была сталинской девочкой. Очень долго. Очень... Да, это было! Со мной... с нами... и без той жизни я останусь с пустыми руками. Без ничего... нищенка буду! Я гордилась нашим соседом, дядей Ваней – герой! Он вернулся с войны без обеих ног. Ездил по двору на деревянной самодельной коляске. Звал меня «моя Маргаритка», чинил всем валенки и сапоги. Пьяный пел: «Дорогие братишки-сестренки... / Я героически сражался в бою...». Через несколько дней после смерти Сталина прихожу к нему: «Ну что, Маргаритка, сдох этот...». Это он – о моем Сталине! Я выхватила свои валенки: «Как вы смеете? Вы – герой! С орденом». Два дня решала: я – пионерка, значит, я должна пойти в энкавэдэ и рассказать о дяде Ване. Сделать заявление. И это абсолютно серьезно... да! Как Павлик Морозов... Я могла донести и на своего отца... на мать... Я могла... Да! Я была готова! Возвращаюсь из школы, а дядя Ваня пьяный валяется в подъезде. Перевернулся со своей коляской и не может встать. Мне стало его жалко.

И это я... Я сидела, прижавшись ухом к репродуктору, и слушала, как каждый час передавали бюллетень о здоровье товарища Сталина. И плакала. Всем сердцем. Было! Это было! Было сталинское время... и были мы, сталинские люди... Моя мама – из дворянской семьи. За несколько месяцев до революции она вышла замуж за офицера, впоследствии он воевал в белой гвардии. В Одессе они расстались – он эмигрировал с остатками разбитых денкинских частей, а она не могла оставить парализованную мать. Ее забрали в чека как жену белогвардейца. Следователь, который вел дело, влюбился в маму. Спас каким-то образом... Но заставил выйти за него замуж. После службы он возвращался домой пьяный и бил ее револьвером по голове. Потом куда-то исчез. И вот эта моя мама... красавица... обожавшая музыку, знающая несколько языков, она до беспамятства любила Сталина. Грозил папе, если он чем-то был недоволен: «Я пойду в райком и скажу, какой ты коммунист». А папа...

Папа участвовал в революции... в 37-м был репрессирован... Но его быстро освободили, потому что за него заступился кто-то из видных большевиков, знавших его лично. Дал поручительство. Но в партии папу не восстановили. Удар, который он не мог пережить. В тюрьме ему выбили зубы, проломили голову. Все равно папа не изменился, остался коммунистом. Объясните мне это... Думаете, глупцы? Наивняк? Нет, это были умные и образованные люди. Мама читала в подлиннике Шекспира и Гете, а папа окончил Тимирязевскую академию. А Блок... Маяковский... Инесса Арманд? Мои кумиры... мои идеалы... С ними я выросла... *(Задумалась.)*

Когда-то я училась летать в аэроклубе. На чем мы летали, теперь удивляешься: как мы живы остались?! Не планеры, а самоделки – деревянные реечки, обитые марлей. Управление – ручка и педаль. Но зато, когда ты летишь, ты видишь птиц, ты видишь землю с высоты. Ты чувствуешь крылья! Небо меняет человека... высота меняет... Понимаете, о чем я? Я о той нашей жизни... Мне жалко не себя мне жалко все то, что мы любили...

Все честно вспомнила... и не знаю даже... Почему-то теперь стыдно все это кому-то рассказывать...

Полетел Гагарин... Люди вышли на улицу, смеялись, обнимались, плакали. Незнакомые люди. Рабочие в спецовках прямо с заводов, медики в белых шапочках, швыряли их в небо: «Мы – первые! Наш человек в космосе!». Это нельзя забыть! Это было что-то взхлеб, такое изумление. Я до сих пор не могу спокойно слушать песню: «И снится нам не рокот космодрома, / Не эта ледяная синева, / А снится нам трава, трава у дома. / Зеленая, зеленая трава...». Кубинская революция... Молодой Кастро... Я кричала: «Мама! Папа! Они победили! Вива Куба!». *(Наневаем.)* «Куба, любовь моя! / Остров зари багровой, / Песня летит над планетой, звеня, / Куба – любовь моя!» В школу к нам приходили ветераны боев в Испании... Вместе мы пели песню «Гренада»: «Я хату покинул, пошел воевать, / Чтоб землю в Гренаде крестьянам отдать...». У меня над столом висела фотография Долорес Ибаррури. Да... мы мечтали о Гренаде... потом о Кубе... Через несколько десятков лет другие мальчики точно так же бредили Афганистаном. Нас легко было обмануть. Но все равно... Все равно! Я это не забуду! Я не забуду, как уходил на целину весь наш десятый класс. Они шли колонной, с рюкзаками и развевающимся знаменем. У некоторых за спиной гитары. «Вот это – герои!» – думала я. Многие из них потом вернулись больными: на целину они не попали, а строили где-то в тайге железную дорогу, таскали на себе рельсы по пояс в ледяной воде. Не хватало техники... Ели гнилую картошку, все переболели цингой. Но они были, эти ребята! И была девочка, провожавшая их с восторгом. Это – я! Моя память... Я ее никому не отдам – ни коммунистам, ни демократам, ни брокерам. Она – моя! Только моя! Я без всего могу обойтись: мне не надо много денег, дорогой еды и модной одежды... шикарной машины... Мы на своих «Жигулях» объехали весь Союз: я увидела Карелию... озеро Севан... и Памир. Это все была моя Родина. Моя Родина – СССР. Я без многого могу прожить. Не могу только без того, что было. *(Долго молчит. Так долго, что я окликаю ее.)*

Не бойтесь... Со мной все нормально... уже нормально... Сижу пока дома... кошку глажу, варезки вяжу. Такое простое действие, как вязание, помогает лучше всего... Что удержало? До конца я не дошла... нет... Как врач, я все представляла... во всех мелочах... Смерть безобразна, она не бывает красивой. Я видела повесившихся... В последние минуты у них наступает оргазм, или они в моче, в кале. От газа человек синий... фиолетовый... Одна эта мысль для женщины ужасна. Никаких иллюзий о красивой смерти у меня не могло быть. Но... Тебя что-то кинуло, подхлестнуло, заставило рвануться. Ты в отчаянном рывке... есть дыхание и ритм... и есть рывок... А там уже трудно удержаться. Сорвать стоп-кран! Стоп! Я как-то удержалась. Бросила бельевую веревку. Выбежала на улицу. Промокла под дождем, какая радость после всего промокнуть под дождем! Как приятно! *(Молчит.)* Я долго не разговаривала... Восемь месяцев лежала в депрессии. Разучилась ходить. Встала в конце кон-

цов. Научилась ходить опять. Я есть... снова я на твердом... Но мне было плохо... Меня проткнули, как шарик... О чем это я? Хватит! Ну хватит... *(Сидит и плачет.)* Хватит...

Девяностый год... В нашей минской трехкомнатной квартире жило пятнадцать человек, да еще грудной ребенок. Первыми приехали из Баку родственники мужа – сестра с семьей и его двоюродные братья. Они не в гости приехали, они привезли с собой слово «война». С криком вошли в дом, с потухшими глазами... Это где-то осенью или зимой... было уже холодно. Да, осенью они приехали, потому что зимой нас уже было больше. Зимой из Таджикистана... Из города Душанбе приехала моя сестра со своей семьей и родителями мужа. Именно так и было... Так... Спали везде, летом спали даже на балконе. И... не говорили, а кричали... Как они бежали, а война пинком догоняла. Пятки жгла. А они... все они, как и я, советские... абсолютно советские. Стопроцентно! Этим гордились. И вдруг – ничего этого нет. Ну нет! Проснулись утром, глянули в окно – уже они под другим флагом. В другой стране. Уже – чужие.

Я слушала. Слушала. Они говорили...

«...ведь какое было время! Пришел Горбачев... И вдруг под окнами – стрельба. Господи! В столице... в Душанбе... Все сидели у телевизора и боялись пропустить последние новости. У нас на фабрике женский коллектив был, преимущественно русские. Я спрашиваю: “Девочки, что будет?” – “Война начинается, уже русских режут”. Через несколько дней один магазин днем разграблен... второй...»

«...первые месяцы я плакала, а потом перестала. Слезы быстро кончаются. Больше всего боялась мужчин, и знакомых, и незнакомых. Заташат в дом, в машину... “Красивайа! Дэвушка, давай поебемся...” Соседскую девочку одноклассники изнасиловали. Таджикские мальчишки, которых мы знали. Ее мать пошла в семью к одному. “Зачем сюда приехала? – кричали на нее. – Вали в свою Россию. Скоро вас, русских, тут вообще не останется. В одних трусах побежите”».

«...зачем мы туда поехали? По комсомольской путевке. Строили Нурекскую ГЭС, алюминиевый завод... Я учила таджикский язык: чайхана, пиала, арык, арча, чинара... “Шурави” называли нас. Русские братья».

«...мне снятся розовые горы – цветет миндаль. А просыпаюсь вся в слезах...»

«...в Баку... Жили мы в девятиэтажном доме. Утром вывели армянские семьи во двор... Все вокруг них собрались, и сколько было людей, столько подошло к ним, каждый чем-то ударил. Маленький мальчик... лет пять... он подошел и ударил детской лопаткой. Старая азербайджанка его погладила по голове...»

«...а наши друзья, они тоже были азербайджанцы, но они нас прятали у себя в подвале. Забросали хламом, ящиками. Приносили ночью еду...»

«...утром бегу на работу – на улицах трупы лежат. Валяются, или сидят у стены, сидят будто живые. Кого-то накрыли дастарханом (по-русски – скатертью), а кого-то нет. Не успели. Большинство лежали раздетые... и мужчины, и женщины... Тех, что сидели, тех не раздевали, их же не разогнуть...»

«...раньше я думал, что таджики – как дети, никого не обидят. За полгода, может, даже меньше времени прошло, Душанбе было не узнать, и людей не узнать. Морги переполнены. Утром на асфальте, пока не затопчут, сгустки застывшей крови... как холодец...»

«...целыми днями они шли мимо нашего дома с плакатами: “Смерть армянам! Смерть!”. Мужчины и женщины. Старые и молодые. Разъяренная толпа, ни одного человеческого лица. Газеты были забиты объявлениями: “Меняю трехкомнатную квартиру в Баку на любую квартиру в любом городе России...”. Свою квартиру мы продали за триста долларов. Как холодильник. А не продали бы за эти деньги, могли убить...»

«...а мы за свою квартиру купили: мне – китайский пуховик, а мужу – теплые ботинки. Мебель, посуду... ковры... все оставили...»

«...жили без света и газа... без воды... На рынке цены ужасные. Возле нашего дома открылся киоск. Там продавали цветы и похоронные венки. Только цветы и венки...»

«...ночью на стене соседнего дома кто-то написал краской: “Бойся, русская сволочь! Твои танкисты тебе не помогут”. Русских снимали с руководящих должностей... стреляли из-за угла... Город быстро стал грязный, как кишлак. Чужой город. Не советский...»

«...убивали за все... Не там родился, не на том языке разговариваешь. Не понравился кому-то с автоматом... А до того как мы жили? В праздники первый тост у нас был “за дружбу”: “ес кес сирум эм” (по-армянски – я тебя люблю). – “Ман сани севирам” (по-азербайджански – я тебя люблю). Жили вместе...»

«...простые люди... Наши знакомые таджики закрывали своих сыновей на ключ, не выпускали из дому, чтобы их не научили... не заставили убивать».

«...уезжаем... Сели уже в поезд, уже пар из-под колес. Последние минуты. Кто-то дал по колесам очередь из автомата. Солдаты стояли коридором, закрывали нас. Если бы не солдаты, то мы живыми бы даже до вагонов не добежали. И если сейчас я вижу, что показывают войну по телевизору, я сразу слышу... Этот запах... запах поджаренного человеческого мяса... Тошнотворный... конфетный запах...»

Через полгода у мужа первый инфаркт... еще через полгода – второй... У его сестры инсульт. От всего этого... Я сходила с ума... А вы знаете, как сходят с ума волосы? Они становятся жесткими, как леска. Волосы сходят с ума первыми... Ну кто же выдержит? Маленькая Карина... Днем нормальный ребенок, а станет темнеть за окном, она дрожит. Кричит: «Мама, не уходи! Я усну, а вас с папой убьют!». Я бежала утром на работу и просила, чтобы меня убило машиной. Никогда не ходила в церковь, а тут часами на коленях стояла: «Пресвятая Богородица! Ты меня слышишь?». Перестала спать, не могла есть. Я – не политик, я в политике не разбираюсь. Мне просто страшно. Что вы еще хотите у меня спросить? Я все рассказала... Все!

Об одиноком красном маршале и трех днях забытой революции

Сергей Федорович Ахромеев (1923–1991), маршал Советского

Союза, Герой Советского Союза (1982). Начальник Генштаба

Вооруженных сил СССР (1984–1988). Лауреат Ленинской премии

(1980). С 1990 года военный советник Президента СССР.

Из интервью на Красной площади

(декабрь 91-го года)

«Я была студенткой...»

Все произошло очень быстро... Через три дня революция кончилась... По телевизору в обзоре новостей передали: члены ГКЧП арестованы... министр внутренних дел Пуго застрелился, маршал Ахромеев повесился... В нашей семье это долго обсуждалось. Помню, папа сказал: “Это – военные преступники. Их должна была постичь судьба немецких генералов Шпеера и Гесса”. Все ждали Нюрнберга...

Мы были молодые... Революция! Я начала гордиться своей страной, когда люди вышли на улицы против танков. До этого уже были события в Вильнюсе, Риге, Тбилиси. В Вильнюсе литовцы отстояли свой телецентр, нам все это показывали, а мы что – быдло что ли? На улицу вышли люди, которые раньше никуда не ходили – сидели на кухнях и возмущались. А тут они вышли... Мы с подружкой взяли с собой зонтики – и от дождя, и чтобы драться.

(Смеется.) Я была горда за Ельцина, когда он стоял на танке, я поняла: это – мой президент! Мой! Настоящий! Там было много молодежи. Студентов. Все мы выросли на “Огоньке” Коротича, на “шестидесятниках”. Обстановка военная... В мегафон кто-то кричал, умолял, мужской голос: “Девушки, уходите. Будет стрельба и много трупов”. Рядом со мной парень отправлял домой свою беременную жену, она плакала: “Почему ты остаешься?” – “Так надо”.

Я пропустила очень важное... Как начался этот день... Утром я проснулась оттого, что мама громко плакала. Рыдала. Мама спрашивала у папы: “Что такое чрезвычайное положение? Как ты думаешь, что они сделали с Горбачевым?”. А бабушка бегала от телевизора к радио на кухне: “Никого не арестовали? Не расстреляли?”. Родилась бабушка в двадцать втором году, всю ее жизнь стреляли и кого-то расстреливали. Арестовывали. Так жизнь прошла... Когда бабушки не стало, мама открыла семейную тайну. Подняла занавес... эти шторы... В пятьдесят шестом привезли бабушке и маме из лагеря отца, это был мешок костей. Из Казахстана. Приехал он с сопровождающим, такой был больной. И они никому не признавались, что это отец... это муж... Боялись... Говорили, что он им никто, какой-то дальний родственник. Пожил он с ними несколько месяцев, и его положили в больницу. Там он повесился. Мне надо... Теперь мне надо как-то с этим жить, с этим знанием. Мне надо это понять... *(Повторяет.)* Как-то с этим жить... Больше всего наша бабушка боялась нового Сталина и войны, всю жизнь она ждала ареста и голода. Выращивала на окне лук в ящичках, квасила в больших кастрюлях капусту. Покупала в запас сахар и масло. Антросоли у нас были забиты разной крупой. Перловкой. Всегда она меня учила: “Ты молчи! Молчи!”. В школе молчи... в университете... Так я росла, среди таких людей. Нам не за что было любить советскую власть. Мы все – за Ельцина! А мою подружку мама не выпускала из дома: “Только через мой труп! Ты разве не понимаешь, что все вернулось?”. Мы учились в университете дружбы народов имени Патриса Лумумбы. Там учились студенты со всего мира, многие из них приезжали с представлениями, что СССР – это страна балалаек и атомных бомб. Нам было обидно. Мы хотели жить в другой стране...»

«Я работал слесарем на заводе...»

Про путч узнал в Воронежской области... Гостил у тети. Все эти вопли о величии России – жопень полная. Патриоты ряженные! Сидят у зомбоящика. Отъехали бы на пятьдесят километров от Москвы... Посмотрели бы на дома, на то, как люди живут. Какие у них праздники хмельные... В деревне мужиков почти нет. Вымерли. Сознание на уровне рогатого скота – вусмерть пьют. Пока не повалятся. Пьют все, что горит: от огуречного лосьона до автобензина. Пьют, а потом дерутся. В каждой семье кто-то в тюрьме сидел или сидит. Милиция не справляется. Одни бабы не сдаются, копаются на огородах. Если осталось пару мужиков непьющих, то они уехали на заработки в Москву. А единственному фермеру (в той деревне, куда я езжу) три раза пускали «красного петуха», пока не съехал к чертовой матери! С глаз! Натурально ненавидели... физически...

Танки в Москве... баррикады... В деревне никто особо по этому поводу не напрягался. Не заморачивался. Всех больше волновал колорадский жук и капустная моль. Он живучий, этот колорадский... А у молодых пацанов семечки и девочки на уме. Где пузырь вечером раздавить? Но народ все-таки больше высказывался за ГКЧП. Я так понял... Они не все были коммунистами, но все за великую страну. Боялись перемен, потому как после всех перемен мужик в дураках оставался. Помню, как наш дед говорил: “Раньше мы жили ху...во-ху...во, а потом все хуже и хуже”. До войны и после войны жили без паспортов. Деревенским паспорта не давали, не выпускали в город. Рабы. Арестанты. Возвратились с войны в орденах. Пол-Европы завоевали! А жили без паспортов.

В Москве узнал, что мои друзья все были на баррикадах. Участвовали в заварушке. *(Смеется.)* И я медальку мог получить...»

«Я – инженер...

Кто он, маршал Ахромеев? Фанатик “совка”. Я жил в “совке”, мне опять в “совок” не хочется. А это был фанатик, человек, искренне преданный коммунистической идее. Это был мой враг. Он вызывал во мне ненависть, когда я слушал его выступления. Я понимал: этот человек будет биться до конца. Его самоубийство? Ясно, что поступок неординарный, и он вызывает уважение. Смерть надо уважать. Но я задаю себе вопрос: а если бы они победили? Возьмите любой учебник... Ни один переворот в истории не обошелся без террора, обязательно все кончалось кровью. Вырыванием языков и выкалыванием глаз. Средневековьем. Тут не надо быть историком...

Услышал утром по телевизору о “неспособности Горбачева управлять страной в силу тяжелой болезни”... увидел под окнами танки... Звоню друзьям – все за Ельцина. Против хунты. Будем Ельцина защищать! Открываю холодильник – положил кусок сыра себе в карман. Баранки лежали на столе – сгреб баранки. А оружие? Что-то надо с собой взять... На столе лежал кухонный нож... подержал его в руках и положил на место. (*Задумался.*) А если бы... а если бы они победили?

Сейчас показывают по телевизору картинки: маэстро Ростропович прилетел из Парижа и сидит с автоматом, девушки угощают солдат мороженым... Букет цветов на танке... Мои картинки другие... Московские бабушки раздают солдатам бутерброды и водят к себе домой пописать. Ввели танковую дивизию в столицу – ни сухпайков, ни туалетов. Торчат из люков тоненькие шейки пацанов, и – вот такие! – у них перепуганные глазища. Они ничего не понимают. На третий день уже сидят на броне – злые, голодные. Невыспавшиеся. Женщины берут их в кольцо: “Сыночки, и вы будете в нас стрелять?”. Солдаты молчат, а офицер как гаркнет: “Дадут приказ – будем стрелять”. Солдат как ветром сдуло, попрятались в люках. Во как! У меня картинки с вашими не совпадают... Стоим в оцеплении, ждем атаки. Слухи: скоро газы пустят, снайперы на крышах... Подходит к нам женщина, у нее орденские колодки на кофте: “Кого защищаете? Капиталистов?”. – “Да ты что, бабуся? Мы за свободу тут стоим”. – “А я за советскую власть воевала – за рабочих и крестьян. А не за ларечки и кооперативы. Дали бы мне сейчас автомат...”

Все висело на волоске. Кровью пахло. Праздника я не помню...»

«Я – патриот...

Дайте мне высказаться. – *Подходит мужчина в распахнутой дубленке с массивным крестом на груди.* – Мы живем в самое позорное время нашей истории. Мы – поколение трусов, предателей. Такой приговор нам вынесут наши дети. “Великую страну наши родители продали за джинсы, ‘Мальборо’ и жвачку”, – скажут они. Мы не смогли отстоять СССР – нашу Родину. Страшное преступление. Продали всё! Никогда не привыкну к российскому триколору, у меня перед глазами всегда будет красное знамя. Знамя великой страны! Великой победы! Что же надо было сделать с нами... с советскими людьми... чтобы мы закрыли глаза и побежали в этот ебанный капиталистический рай? Купили нас фантиками, колбасными прилавками, яркими обертками. Ослепили, заболтали. Мы променяли все на тачки и шмотки. И не надо сказок... что это ЦРУ развалило Советский Союз, козни Бжезинского... А почему КГБ не развалило Америку? Не тупые большевики просрали страну, и не интеллигентные сволочи ее уничтожили, чтобы ездить по заграницам и читать “Архипелаг ГУЛАГ”... И не ищите жидо-масонский заговор. Все мы уничтожали сами. Своими руками. Мечтали, чтобы у нас открыли “Макдональдсы” с горячими гамбургерами и каждый мог купить себе “мерседес”, пластмассовый видик. И чтобы в киосках продавались порнофильмы...

России нужна крепкая рука. Железная. Надсмотрщик с палкой. Так что – великий Сталин! Ура! Ура! Ахромеев мог стать нашим Пиночетом... генералом Ярузельским... Великая потеря...»

«Я – коммунист...

Я был за ГКЧП, вернее, за СССР. Я был страстный гэкачепист, потому что мне нравилось жить в империи. «Широка страна моя родная...» В восемьдесят девятом году послали меня в командировку в Вильнюс. Перед отъездом вызвал к себе главный инженер завода (он там уже был) и предупредил: «Ты по-русски с ними не разговаривай. Спичек в магазине не продадут, если попросишь по-русски. Ты свой украинский не забыл? Разговаривай по-украински». Я не поверил – что за ерунда? А он: «Осторожно в столовой – могут отравить или подсыпят толченное стекло. Ты там теперь оккупант, понимаешь?». А у меня в голове дружба народов и все такое. Советское братство. Не поверил, пока не приехал на вильнюсский вокзал. Вышел на перрон... С первой минуты мне дали понять, услышав русскую речь, что я приехал в чужую страну. Я был оккупант. Из грязной, отсталой России. Русский Иван. Варвар.

И вот этот танец маленьких лебедей... Одним словом, про ГКЧП я услышал утром в магазине. Побежал домой, включил телевизор: убили Ельцина или нет? В чьих руках телецентр? Кто командует армией? Позвонил знакомый: «Ну, суки, сейчас опять гайки закрутят. Станем винтиками и гвоздиками». Меня зло взяло: «А я обеими руками – за. Я – за СССР!». В один момент он разворачивается на сто восемьдесят градусов: «Конец Михаилу Меченому! Пахать ему в Сибири!». Понимаете? С людьми надо было разговаривать. Внушать. Обращать. Первым делом брать «Останкино» и круглосуточно вещать: спасем страну! Советская Родина в опасности! Быстро разобраться с собачками, афанасьевыми и остальными предателями. А народ был – за!

В самоубийство Ахромеева не верю. Не мог боевой офицер повеситься на шпагате... на ленточке с коробки от торта... Как зэк. В тюремной камере так вешаются – сидя и подогнув ноги. В одиночке. Не в военной это традиции. Офицеры брезгают петлей. Не самоубийство это, а убийство. Его убили те, кто убил Советский Союз. Они его боялись – у Ахромеева был высокий авторитет в армии, он мог организовать сопротивление. Народ еще не был дезориентирован, разобщен, как сейчас. Еще все жили одинаково и одни газеты читали. Не так, как сейчас: у одних супчик жидок, у других жемчуг мелок.

А вот это... я сам это видел... Молодые ребята приставили лестницы к зданию ЦК КПСС на Старой площади, его уже никто не охранял. Высокие пожарные лестницы. Залезли наверх... Молотками и зубилами начали сбивать золотые буквы ЦК КПСС. А другие внизу их распиливали и раздавали кусочки на память. Разбирали баррикады. Колочая проволока тоже шла на сувениры.

Так я запомнил падение коммунизма...»

Из материалов следствия

«24 августа 1991 года в 21 час 50 мин. в служебном кабинете № 19а в корпусе 1 Московского Кремля дежурным офицером охраны Коротеевым был обнаружен труп Маршала Советского Союза Ахромеева Сергея Федоровича (1923 года рождения), работавшего советником Президента СССР.

Труп находился в сидячем положении под подоконником окна кабинета. Спиной труп опирался на деревянную решетку, закрывающую батарею парового отопления. На трупе была одежда Маршала Советского Союза. Повреждений на одежде не было. На шее трупа находилась скользящая, изготовленная из синтетического шпагата, сложенного вдвое, петля, охватывающая шею по всей окружности. Верхний конец петли был закреплен на ручке окон-

ной рамы клеящей лентой типа “скотч”. Каких-либо телесных повреждений на трупе, кроме связанных с повешением, не обнаружено...»

«При осмотре содержимого письменного стола наверху, на видном месте было обнаружено пять записок. Все записки рукописные. Записки лежали аккуратной стопкой. Опись сделана в той последовательности, в которой записки располагались...»

Первую записку Ахромеев просит передать его семье, в ней он сообщает, что принял решение о самоубийстве: “Всегда для меня был главным долг воина и гражданина. Вы были на втором месте. Сегодня я впервые ставлю на первое место долг перед вами. Прошу вас мужественно пережить эти дни. Поддерживайте друг друга. Не давайте повод для злорадства недругам...”

Вторая записка адресована Маршалу Советского Союза С. Соколову. В ней содержится просьба к Соколову и генералу армии Лобову помочь в похоронах и не оставить членов семьи в тяжкие для них дни.

В третьей записке содержится просьба о возвращении долга в кремлевскую столовую и подколота денежная купюра достоинством в 50 рублей.

Четвертая записка безадресная: “Не могу жить, когда гибнет мое Отечество и уничтожается все, что я считал смыслом в моей жизни. Возраст и прошедшая моя жизнь дают мне право уйти из жизни. Я боролся до конца”.

Последняя записка лежала отдельно: “Я плохой мастер готовить орудия самоубийства. Первая попытка (в 9.40) не удалась – порвался тросик. Собираюсь с силами все повторить вновь...”

Графологическая экспертиза установила: все записки написаны рукой Ахромеева...»

«...младшая дочь Наталья, с семьей которой Ахромеев провел последнюю ночь, рассказала: “Еще до августа мы не раз спрашивали у отца: “У нас возможен государственный переворот?”. Многие были недовольны тем, как пошла горбачевская перестройка – его болтовней, слабостью, односторонними уступками в советско-американских переговорах по разоружению, ухудшающимся экономическим положением страны. Но отец эти разговоры не любил, он был уверен: “Никакого государственного переворота не будет. Если бы армия захотела сделать переворот, то у нее на это ушло бы два часа. Но в России ничего силой не добьешься. Убрать неугодного руководителя – не самая большая проблема. А вот что делать дальше?”

23 августа Ахромеев вернулся с работы не поздно. Ужинала семья вместе. Купили большой арбуз и долго сидели за столом. Отец, по словам дочери, был откровенен. Признался, что ждет ареста. Никто в Кремле к нему не подходит и не разговаривает. “Я понимаю, – говорил он, – вам будет трудно, сейчас на нашу семью обрушится столько грязи. Но иначе поступить я не мог”. Дочь задала ему вопрос: “Ты не жалеешь, что прилетел в Москву?”. Ахромеев ответил: “Если бы я этого не сделал, я проклинал бы себя всю жизнь”.

Перед сном Ахромеев пообещал внучке, что завтра поведет ее в парк на качели. Беспокоился, кто встретит жену, которая утром должна была прилететь из Сочи. Просил, чтобы ему сразу сообщили о ее прилете. Заказал для нее в кремлевском гараже машину...

Дочь позвонила отцу утром в 9.35. Голос у него был обычный... Зная характер отца, в самоубийство дочь не верит...»

Из последних записей

«...Я присягал Союзу Советских Социалистических Республик... и всю жизнь ему прослужил. Так что теперь я должен делать? Кому я должен

служить? Так, пока я живой, пока я дышу, я и буду бороться за Советский Союз...»

Телепрограмма «Взгляд». 1990 г.

«Все теперь превращают в черноту... Отрицается все, что происходило в стране после Октябрьской революции... Да, тогда был Сталин, был сталинизм. Да, тогда были репрессии, насилие над народом, я этого не отрицаю. Все это было. И тем не менее, это нужно исследовать и оценить объективно и справедливо. Меня, например, в этом убеждать нечего, я сам родом оттуда, из этих годов. Я сам видел, как люди работали, с какой верой... Задача не в том, чтобы что-то сгладить или спрятать. Прятать, скрывать нечего. На фоне того, что произошло в стране и о чем все уже знают, какие могут быть игры в прятки? Но войну с фашизмом мы выиграли, а не проиграли. У нас есть Победа.

Я помню тридцатые годы... Выросли такие, как я. Десятки миллионов. И мы строили социализм сознательно. Мы готовы были на любые жертвы. Я не согласен, что в предвоенные годы существовал только сталинизм, как пишет генерал Волкогонов. Он – антикоммунист. Но сегодня у нас слово “антикоммунист” уже не является ругательным. Я – коммунист, он – антикоммунист. Я – антикапиталист, а он – не знаю, кто: защитник капитализма или нет? Это не более, чем обычная констатация факта. И идейный спор. Меня не только критикуют, но откровенно ругают за то, что я называю его “перевертышем”... До недавнего времени Волкогонов защищал советский строй, коммунистические идеалы вместе со мной. И вдруг резкий поворот. Пусть скажет, почему он изменил военной присяге...

Многие утратили сегодня веру. Первым среди них я назвал бы Бориса Николаевича Ельцина. Российский президент ведь был секретарем ЦК КПСС, кандидатом в члены Политбюро. А сейчас вот открыто говорит, что не верит в социализм и коммунизм, считает неправильным все, что делали коммунисты. Стал воинствующий антикоммунист. Есть и другие. Их, кстати, не так уж мало. Но вы-то обращаетесь ко мне... Я в принципе не согласен... Я вижу угрозу существованию нашей страны, она – наяву. Она ныне такая же, как в сорок первом году...»

Н. Зенкович. XX век. Высший генералитет в годы потрясений. М.: Олма-пресс, 2005

«СССР в 70-е годы производил в 20 раз больше танков, чем США.

Вопрос Г. Шахназарова, помощника генсека КПСС М. Горбачева (1980-е годы): “Зачем надо производить столько вооружений?”.

Ответ начальника Генштаба С. Ахромеева: “Потому что ценой огромных жертв мы создали первоклассные заводы, не хуже, чем у американцев. Вы что, прикажете им прекратить работу и производить кастрюли?”».

Егор Гайдар. Гибель империи. М.: Российская политическая энциклопедия, 2007

«На девятый день работы Первого Съезда народных депутатов СССР в зале появились листовки, в них сообщалось, что Сахаров в интервью одной из канадских газет заявил: “Во время афганской войны с советских

вертолетов расстреливали попавших в окружение своих же солдат, чтобы те не могли сдаться в плен”...

На трибуне первый секретарь Черкасского горкома комсомола, ветеран афганской войны С. Червонопиский, у него нет ног, ему помогают дойти до трибуны. Он зачитывает обращение ветеранов-афганцев: “Господин Сахаров утверждает, что есть сведения о расстреле советскими вертолетами советских же солдат... Нас серьезно беспокоит беспрецедентная травля Советской Армии в средствах массовой информации. Мы до глубины души возмущены этой безответственной, провокационной выходкой известного ученого. Это злонамеренный выпад против нашей армии, унижение ее чести и достоинства, очередная попытка разорвать священное единство армии, народа и партии... *(Овации.)* В зале более 80 процентов коммунистов. Но ни от кого, в том числе и в докладе товарища Горбачева, не прозвучало слово – коммунизм. Но три слова, за которые, я считаю, всем миром нам надо бороться, я сегодня назову – это: Держава, Родина, Коммунизм...”

Аплодисменты. Все депутаты встают – кроме демократов и митрополита Алексия.

Учительница из Узбекистана:

“Товарищ академик! Вы одним своим поступком перечеркнули всю свою деятельность. Вы нанесли оскорбление всей армии, всем нашим павшим. И я высказываю всеобщее презрение вам...”

Маршал Ахромеев:

“То, что сказал академик Сахаров – это ложь. Ничего подобного в Афганистане не было. Заявляю это с полной ответственностью. Во-первых, я два с половиной года прослужил в Афганистане, во-вторых, будучи первым заместителем начальника Генштаба, а потом начальником Генштаба, каждый день занимался Афганистаном, знаю каждую директиву, каждый день боевых действий. Не было!”».

В. Колесов. Перестройка, летопись. 1985–1991. Lib.ru. Современная литература

«– Товарищ маршал, какие чувства вы испытываете, зная, что звание Героя Советского Союза получили за Афганистан? Академик Сахаров озвучил цифру: потери афганского народа – один миллион человек...»

– Вы думаете, я счастлив, что получил Звезду Героя? Приказ я выполнял, но там одна кровь... грязь... Я не раз говорил, что военное руководство было против этой войны, понимая, что нас втянут в боевые действия в трудных, незнакомых условиях. Против СССР поднимется весь восточный исламизм. Мы потеряем лицо в Европе. Нам было жестко сказано: “С каких это пор генералы в нашей стране стали лезть в политику?”. Мы проиграли борьбу за афганский народ... Но в этом нет вины нашей армии...»

Интервью для теленовостей. 1990 г.

«... Докладываю о степени моего участия в преступных действиях так называемого “Государственного комитета по чрезвычайному положению...”».

6 августа с. г. по Вашему распоряжению я убыл в отпуск в военный санаторий г. Сочи, где находился до 19 августа. До отъезда в санаторий и в санатории до утра 19 августа мне ничего не было известно о подготовке

заговора. Никто, даже намеком, мне не говорил о его организации и организаторах, то есть в его подготовке и осуществлении я никак не участвовал. Утром 19 августа, услышав по телевидению документы указанного “Комитета”, я самостоятельно принял решение лететь в Москву. В 8 часов вечера я встретился с Янаевым Г. И. Сказал ему, что согласен с программой, изложенной “Комитетом” в его Обращении к народу, и предложил ему начать работу с ним в качестве советника и. о. Президента СССР. Янаев Г. И. согласился с этим, но, сославшись на занятость, определил время следующей встречи примерно в 12 часов 20 августа. Он сказал, что у “Комитета» не организована информация об обстановке и хорошо, если бы я занялся этим...

Утром 20 августа я встретился с Баклановым О. Д., который получил такое же поручение. Решили работать по этому вопросу совместно... Собрали рабочую группу из представителей ведомств и организовали сбор и анализ обстановки. Практически эта рабочая группа подготовила два доклада: к 9 вечера 20 августа и к утру 21 августа, которые были рассмотрены на заседании “Комитета”.

Кроме того, 21 августа я работал над подготовкой доклада Янаева Г. И. на Президиуме Верховного Совета СССР. Вечером 20 августа и утром 21 августа я участвовал в заседаниях “Комитета”, точнее, той его части, которая велась в присутствии приглашенных. Такова работа, в которой я участвовал 20 и 21 августа с. г. Кроме того, 20 августа, примерно в 3 часа дня, я встречался в министерстве обороны с Язовым Д. Т. по его просьбе. Он сказал, что обстановка осложняется, и выразил сомнение в успехе задуманного. После беседы он попросил пройти с ним вместе к заместителю министра обороны генералу Ачалову В. А., где шла работа над планом захвата здания Верховного Совета РСФСР. Он заслушал Ачалова В. А. в течение трех минут только о составе войск и сроках действий. Я никому никаких вопросов не задавал...

Почему я приехал в Москву по своей инициативе – никто меня из Сочи не вызывал – и начал работать в “Комитете”? Ведь я был уверен, что эта авантюра потерпит поражение, а приехав в Москву, еще раз убедился в этом. Дело в том, что, начиная с 1990 года, я был убежден, как убежден и сегодня, что наша страна идет к гибели. Вскоре она окажется расчлененной. Я искал способ громко заявить об этом. Посчитал, что мое участие в обеспечении работы “Комитета” и последующее связанное с этим разбирательство даст мне возможность прямо сказать об этом. Звучит, наверное, неубедительно и наивно, но это так. Никаких корыстных мотивов в этом моем решении не было...»

*Письмо Президенту СССР М. С. Горбачеву.
22 августа 1991 г.*

«...Горбачев дорог, но Отечество дороже! Пусть в истории хоть останется след – против гибели такого великого государства протестовали. А уже история оценит, кто прав, а кто виноват...»

Из записной книжки. Август. 1991 г.

Из рассказа Н. (Фамилию и свою должность в аппарате Кремля просил не называть)

Это был редкий свидетель. Из святая святых – из Кремля, главной цитадели коммунизма. Свидетель из той жизни, которая была от нас скрыта. Охранялась, как жизнь китайских императоров. Земных богов. Уговаривала я его долго.

Из наших телефонных разговоров

...При чем тут история? «Жареные» факты вам подавай, что-нибудь остренькое, с запашком? На кровь, на мясо все бегут. Смерть – уже товар. Всё на рынок несут. Обыватель будет в восторге... впрыснет себе адреналинчика... Не каждый день империя валится. Лежит мордой в грязь! В кровь! И не каждый день Маршал империи кончает жизнь самоубийством... вешается в Кремле на батарее парового отопления...

...почему он ушел? Его страна ушла, и он ушел вместе с ней, он больше себя здесь не видел. Он... я так думаю... уже представил, как все будет. Как разгромят социализм. Болтовня закончится кровью. Грабилкой. Как станут валить памятники. Советские боги пойдут на металлолом. В утильсырье. Начнут грозить коммунистам Нюрнбергом... А судьи – кто? Одни коммунисты судили бы других коммунистов – те, кто вышел из партии в среду, судили бы тех, кто вышел из партии в четверг. Как переименуют Ленинград... колыбель революции... Как станет модно материть КПСС, и все начнут ее материть. Как будут ходить по улицам с плакатами: «КПСС – капут!», «Правь, Борис!». Многотысячные демонстрации... Какой восторг на лицах! Страна гибла, а они были счастливы. Крушить! Валить! Для нас это всегда праздник... Праздничек! Дали бы только команду «Фас!». Начались бы погромы... «Жидов и комиссаров к стенке!» Народ этого ждал. Был бы рад. Устроили бы охоту на стариков-пенсионеров. Я сам находил на улице листовки с адресами руководящих работников ЦК – фамилия, дом, квартира, а их портреты расклеивали везде, где только можно. Чтобы в случае чего – узнали. Из своих кабинетов партноменклатура бежала с полиэтиленовыми пакетами. С авоськами. Многие боялись ночевать дома, прятались у родственников. Информация у нас была... Знали, как все происходило в Румынии... Расстреляли Чаушеску с женой и пачками увозили и ставили к стенке чекистов, партийную элиту. Засыпали во рвах... *(Долгая пауза.)* А он... он был идеалистический, романтический коммунист. Верил в «сияющие вершины коммунизма». В буквальном смысле. В то, что коммунизм пришел навсегда. Нелепое сегодня это признание... идиотское... *(Пауза.)* То, что начиналось, он не принимал. Видел, как зашевелились молодые хищники... пионеры капитализма... Не с Марксом и не с Лениным в голове, а с долларом...

...Что это за путч, когда не стреляют? Армия трусливо бежала из Москвы. После ареста членов ГКЧП он ждал, что скоро придут и за ним, поведут в наручниках. Из всех помощников и советников президента он один поддержал «путчистов». Поддержал открыто. Остальные выжидали. Пережидали. Бюрократический аппарат – это машина с большой способностью к маневрированию... К выживанию. Принципы? У бюрократии нет убеждений, принципов, всей этой мутной метафизики. Главное – усидеть в кресле, чтобы как носили, так и несли, барашка в бумажке, щенков борзых. Бюрократия – наш конек. Еще Ленин говорил, что бюрократия страшнее Деникина. Ценится только одно – личная преданность, и не забывай, кто твой хозяин, с чьей руки кормишься. *(Пауза.)* Никто про ГКЧП правды не знает. Все врут. Так... вот... На самом деле, была затеяна большая игра, тайных пружин и всех ее участников мы не знаем. Туманная роль Горбачева... Что он сказал журналистам, когда вернулся из Фороса? «Всего я вам все равно никогда не скажу». И ведь

не скажет! *(Пауза.)* И, может быть, это тоже одна из причин, почему он ушел. *(Пауза.)* Сто-тысячные демонстрации... это сильно действовало... Трудно было сохранить нормальное состояние... Не за себя он боялся... Не мог смириться с тем, что скоро все будет утоптанно, забетонировано: советский строй, великая индустриализация... великая Победа... И ока-жется, что и «Аврора» не стреляла, и штурма Зимнего не было...

...Ругают времена... Время наше подлое. Пустое. Все завалено тряпками и видиками. Где великая страна? Случись что, никого мы сегодня не победим. И Гагарин не полетит.

Совершенно неожиданно в конце одного нашего разговора я, наконец, услышала: «Хорошо, приходите». Мы встретились на следующий день у него дома. Он был в черном костюме и галстуке, несмотря на жару. Кремлевская униформа.

– А были вы у... *(Называет несколько известных фамилий.)* А... *(Еще одно имя, кото-рое давно у всех на слуху.)* Их версия – убили! – я в это не верю. Вроде как ходят слухи о каких-то свидетелях... фактах... Шпагат, мол, не тот, тонкий он, им можно только заду-шить, и ключ в кабинете снаружи был оставлен... Всякое говорят... Люди любят дворцо-вые тайны. Я вам скажу другое: свидетели тоже управляемы. Это не роботы. Ими телевиде-ние управляет. Газеты. Друзья... корпоративные интересы... У кого истина? Я так понимаю, что истину ищут специально обученные люди: судьи, ученые, священники. Остальные все во власти своих амбиций... эмоций... *(Пауза.)* Я читал ваши книги... Зря вы так доверя-ете человеку... человеческой правде... История – это жизнь идей. Не люди пишут, а время пишет. А человеческая правда – это гвоздь, на который каждый вешает свою шляпу.

...Начать надо с Горбачева... Без него жили бы мы до сих пор в СССР. Ельцин был бы первым секретарем обкома партии в Свердловске, а Егор Гайдар правил бы статьи по эконо-мике в газете «Правда» и верил в социализм. А Собчак читал бы лекции в Ленинград-ском университете... *(Пауза.)* СССР еще надолго бы хватило. Колосс на глиняных ногах? Ерунда полная! Мы были могущественной сверхдержавой, диктовали свою волю многим странам. Та же Америка нас боялась. Женских колготок не хватало и джинсов? Чтобы побе-дить в атомной войне, нужны не колготки, а современные ракеты и бомбардировщики. У нас они были. Первоклассные. В любой войне мы бы победили. Русский солдат не боится уми-рать. Тут мы азиаты... *(Пауза.)* Сталин создал государство, которое невозможно было про-бить снизу, оно было непробиваемое. А сверху – уязвимое, беззащитное. Никто не думал, что разрушать его начнут сверху, на путь предательства встанет высшее руководство страны. Перерожденцы! Генсек окажется главным революционером, засевающим в Кремле. Сверху это государство разрушить было легко. Жесткая дисциплина и иерархия в партии сработали про-тив нее. Случай уникальный в истории... Как... если бы Римскую империю начал разру-шать сам Цезарь... Нет, Горбачев не пигмей, и не игрушка в руках обстоятельств, и не агент ЦРУ... Кто же он?

«Могильщик коммунизма» и «предатель Родины», «нобелевский триумфатор» и «советский банкрот», «главный шестидесятник» и «лучший немец», «пророк» и «Иудушка», «великий реформатор» и «великий артист», «великий Горби» и «Горбач», «человек века» и «Герострат»... Все об одном человеке.

...К самоубийству Ахромеев готовился несколько дней: две предсмертные записки написаны 22-го, одна – 23-го и последние – 24-го августа. А что произошло в этот день? Именно 24-го августа по радио и телевидению передали заявление Горбачева о сложении с себя полномочий Генерального секретаря ЦК КПСС и его призыв к самороспуску пар-тии: «Надо принять трудное, но честное решение». Генсек ушел без борьбы. Не обратился к народу и миллионам коммунистов... Предал. Сдал всех. Могу догадаться, что пережил в эти минуты Ахромеев. Не исключено, вполне вероятно, что по дороге на работу он уви-

дел, как спускали флаги с государственных учреждений. С башен Кремля. Какие могли быть у него чувства? Коммуниста... фронтовика... Вся его жизнь потеряла смысл... Я не могу представить его в сегодняшней нашей жизни. Не советской. Сидящим в президиуме под российским триколором, а не под красным флагом. Не под портретом Ленина, а под царским орлом. Не вписывается он никак в новый интерьер. Это был советский Маршал... понимаете... Со-вет-ский!! Только так, а не иначе. Только...

В Кремле ему было неуютно. «Белая ворона»... «солдафон»... Так он и не прижился, говорил, что «искренне бескорыстное товарищество бывает только в войсках». Всю... вот... всю свою жизнь он прожил с армией. С армейскими людьми. Полвека. Военную форму надел в семнадцать лет. Это – срок! Жизнь! В кремлевский кабинет переехал после отставки с поста начальника Генштаба. Рапорт написал сам. С одной стороны, он считал, что надо вовремя уходить (насмотрелись катафалков), давать дорогу молодым, а с другой – у него начались конфликты с Горбачевым. Тот армию не любил, как и Хрущев, который генералов и вообще военных иначе как дармоедами не называл. Страна у нас была военная, процентов семьдесят экономики так или иначе обслуживало армию. И лучшие умы тоже... физики, математики... Все работали на танки и бомбы. Идеология тоже военная. А Горбачев был сугубо штатский человек. У прежних генсеков позади война, а у него философский факультет Московского университета. «Вы собираетесь воевать? – спрашивал он у военных. – Я не собираюсь. А генералов и адмиралов у нас только в одной Москве больше, чем во всем мире». Раньше никто так с военными не разговаривал, они были главные люди. Не министр экономики первым докладывал на Политбюро, а министр обороны: сколько выпустили военного вооружения, а не видеоманитофонов. Поэтому видеоманитофон у нас стоил как квартира. А тут все меняется... И конечно, военные восстали. Нам нужна большая и сильная армия, у нас территория вон какая! – граница с половиной мира. С нами считаются, пока мы сильны, а станем слабыми, никакое «новое мышление» никого ни в чем не убедит. Лично Ахромеев много раз ему докладывал... Тут главное расхождение между ними... О мелких конфликтах, ни о чем таком я сейчас вспоминать не буду. Из выступлений Горбачева исчезли знакомые каждому советскому человеку слова: «происки международного империализма», «ответный удар», «заокеанские воротилы»... Все это он вычеркивал. Были у него только «враги гласности» и «враги перестройки». У себя в кабинете матерился (мастак был!) и называл их мудаками. *(Пауза.)* «Дилетант», «русский Ганди»... Не самое обидное из того, что носилось в кремлевских коридорах. «Старые зубры», конечно, в шоке, чуяли беду: сам утонет, и всех потопит. Для Америки мы – «империя зла», нам угрожают крестовым походом... «звездными войнами»... А наш главнокомандующий вроде буддистского монаха: «мир как общий дом», «перемены без насилия и крови», «война больше не является продолжением политики» и т. д. Ахромеев долго боролся, но устал. Первое время он думал, что это неправильно докладывают наверх, обманывают, потом понял, что это – предательство. И подал рапорт. Горбачев отставку принял, но от себя не отпустил. Назначил военным советником.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.